



СТАЛЬНОЕ БРАТСТВО

★ ОГОНЬ НАД ВЯЗЬМОЙ ★

ДЕНИС ГРОМОВ

Стальное братство

Денис Громов

**Стальное братство.
Огонь над Вязьмой.**

«Тайниковский»

2026

Громов Д.

Стальное братство. Огонь над Вязьмой. / Д. Громов —
«Тайниковский», 2026 — (Стальное братство)

Октябрь 1941 года. Вяземский котёл. Капитан Родин приходит в себя на мёрзлой земле среди голых берёз — живой, целый, но без прошлого. Личная память стёрта начисто: ни матери, ни дома, ни лиц. Осталось только имя в военном билете, запах машинного масла на комбинезоне и странное, необъяснимое знание — карты, позиции немецких дивизий, коридор к северу, которого нет ни на одной бумаге. Тело помнит то, что голова забыла. Один посреди окружения, Родин начинает идти. Не к прошлому — к выходу.

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	12
Глава 3	16
Глава 4	19
Глава 5	23
Глава 6	34
Глава 7	39
Глава 8	51
Глава 8	52
Глава 9	58
Глава 10	66
Г	71
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Денис Громов

Стальное братство. Огонь над Вязьмой.

Глава 1

Я пришёл в себя от холода.

Не от боли — её не было совсем, что само по себе было странно. Когда человек лежит на мёрзлой земле в октябре, что-то обязательно должно болеть. Но тело молчало. Только холод — плотный, сырой, лежащий на мне как живое существо. Под лопаткой был камень или корень — что-то угловатое, твёрдое. Я не чувствовал его раньше, но теперь да, а это означало что я приходил в себя.

Я открыл глаза и увидел небо.

Серое. Не утреннее и не вечернее — просто серое, равномерно затянутое, без единого просвета. Такое небо бывает только в октябре в средней полосе — не злое, не красивое, просто никакое. Оно висело надо мной с полным безразличием, как потолок.

Я лежал и слушал — и постепенно, сквозь шелест ветра в голых ветках, начал различать другой звук. Низкий, непрерывный гул. Не отдельные выстрелы, а именно этот слитный гул, когда орудий так много, что они превращаются в один звук. Далеко. Километров десять, может пятнадцать.

Подниматься не хотелось. Тело было тяжёлым — не больным, просто тяжёлым, как бывает после очень глубокого сна. Но я всё-таки заставил себя сесть — медленно, опираясь на руки. Голова поплыла на секунду — мир качнулся, берёзы вокруг съехали куда-то вбок, потом вернулись. Я сидел и ждал пока выровняется.

Лес был осенний, почти голый. Редкие берёзы стояли вокруг как серые свечи. Листья лежали под мной толстым мокрым слоем. Пахло гнилью, прелой землёй, и ещё чем-то горелым — едва уловимым запахом гари, который шёл откуда-то с ветром.

Горелым пахло сильнее чем должно было бы от одного костра.

Я попробовал вспомнить, как здесь оказался — ничего.

Не провал в памяти — когда чувствуешь что что-то было и пытаешься нащупать край. Там была просто пустота. Белая, чистая, ровная. Я знал, что умею ходить и говорить и думать. Знал, что сейчас осень и что-то происходит — война, это слово стояло в голове отдельно и твёрдо, как гвоздь. Всё остальное — кто я такой, где был вчера, есть ли у меня семья — этого не было.

Я осмотрел себя.

На мне была танкистская форма — чёрная, с характерным запахом масла и дизельного топлива. Петлицы — капитанские. Руки целые, не обморожены. На правом виске — засохшая кровь, тонкая полоска. Значит, ударился. Не сильно — раз встал и думаю.

В левом нагрудном кармане что-то было — твёрдое и прямоугольное. Достал. Военный билет. Маленькая фотография смотрела на меня — незнакомое лицо. Немолодое, лет двадцати восьми. Родин Алексей Тимофеевич. Двадцать восемь лет. Малые Ключи, Орловская область. Инженер-конструктор. Призван в тридцать девятом. Командир танка, 4-я танковая бригада.

Тридцать девятый. Четвёртая танковая.

Я сложил билет и спрятал обратно.

Тогда же понял почему пахнет горелым. Где-то здесь — недалеко — стоит или лежит танк. Мой танк. Что с ним — не знал, но запах был тот специфический, который бывает когда горит машина, не дерево.

Встал — получилось со второй попытки. Прикинул направление по светлому пятну на небе. Восток — там. И оттуда — гул. Значит, наши где-то на востоке.

И тут что-то произошло в голове.

Слово появилось само по себе, без усилий — «Вязьма». Просто возникло, чёткое и холодное. И следом — другие слова, цифры, названия, факты. Вяземский котёл. Октябрь сорок первого. Пять советских армий в окружении. Немцы закрыли кольцо быстро, страшно быстро.

Я знал это. Знал так же твёрдо и подробно, как знают таблицу умножения — без вспоминания о том, где и когда учил. Просто знал. Как будто эти факты были вшиты в меня отдельно от всего остального, отдельно от личной памяти.

Постоял с этим знанием. Потом решил — сейчас не время. Сейчас нужно идти.

Я пошёл на восток.

Через двести метров нашёл то, что искал.

Танк стоял в небольшой низине — Т-34, мой по всей видимости. Левая гусеница была разорвана, каток разнесло. Башня развёрнута вбок от нормального положения. На броне — несколько характерных следов от снарядов, один пробил бортовую броню насквозь. Горение уже прекратилось — просто тихий дым из боевого отделения, едкий.

Я обошёл машину.

Люк механика-водителя открыт. Пуст. Значит, водитель либо выбрался сам, либо его вытащили. Командирский люк — тоже открыт. Это я, значит, вылез. Остальные люки — заряжающего и стрелка — задраены. Я остановился у них и постоял. Потом проверил. Пусто. Ушли раньше или вылезли с другой стороны.

Четыре человека в экипаже. Где трое — не знаю.

Внутри нашёл кое-что полезное — два пайка хлеба, завернутых в промасленную тряпку, фляжку воды, немецкий нож который лежал непонятно зачем, запасные портянки.

Взял всё.

В шлемофоне, который нашёл у основания башни, была записка — корявым почерком, карандашом: *Товарищ командир, мы пошли на восток, к дороге. Ждать не стали — вы без сознания, крови мало, решили дойти за помощью. Кузов.*

Кузов. Механик-водитель, значит. Фамилия что-то говорила — смутно, как имя которое слышал давно. Значит, трое ушли. А я остался. Очнулся один.

Я пошёл на восток вслед за своим экипажем.

Шёл, наверное, часа два.

Лес был тихий — неприятно тихий, как бывает в местах, откуда ушла жизнь. Птиц почти не было.

Я шёл и пытался думать связно. С одной стороны — белая пустота там, где должна быть личная память. С другой — поток фактов и знаний, который приходил когда был нужен. Я думал об окружении под Вязьмой — и знал цифры, знал примерные позиции немецких дивизий, знал что произошло и что произойдёт. Карта в голове — не нарисованная, а вживлённая.

И ещё одно. Когда я смотрел на разбитый танк, что-то откликалось внутри — не память конкретная, но что-то похожее на привычку. Руки знали как открыть люк. Ноги сами встали правильно когда я обходил машину. Тело помнило то, что голова не помнила.

Это значило что я был командиром давно. Не первый год.

Откуда это знание — я не понимал. Просто было.

Потом решил — думать об этом сейчас бессмысленно. Сначала нужно выжить.

При этом я был так увлечён тем, что со мной произошло, что чуть было не пропустил человека.

Я спустился в низину между двумя берёзовыми рядами. Он лежал под берёзой, на боку, поджав колени к груди, как ребёнок во сне. Если бы не пар изо рта — я мог бы принять его за мёртвого.

Я остановился в трёх шагах. Живой.

Подожёл и присел рядом. На нём была красноармейская форма — без шапки, голова обмотана тряпкой, старой, бурой от засохшей крови. На вид лет двадцать, может чуть больше.

— Эй, — позвал я. — Слышишь меня?

Ничего.

— Просыпайся. — Я потряс его за плечо — осторожно, не рывками. — Свои.

Он открыл глаза не сразу. Сначала веки дрогнули, потом открылись — мутные глаза, долго не понимающие. Потом, медленно, взгляд стал осмысленным.

— Живой? — спросил я.

— Вроде... — неуверенно ответил он, смотря на меня растерянным взглядом. — Живой, только...

— Нога?

— Ага, — Он поморщился. — Вчера вечером упал здесь. Думал — посижу минуту. А потом не смог встать.

Я посмотрел на ногу. Левое бедро — штанина разрезана, рана перетянута тряпкой. Кровь засохла коричневым. Работа грубая, быстрая, но сделана — значит, когда перевязывал, силы ещё были.

— Осколок?

— Да. Вошёл и вышел. Но нога будто чужая стала.

— Как зовут?

— Дёмин. — Он сглотнул. — Алексей Дёмин, рядовой.

— Родин, — сказал я. — Капитан. Командир танка. Встать сможешь, если помогу?

Он попробовал — сначала самостоятельно. Приподнялся на локте, попытался сесть, опираясь на здоровую ногу. Лицо скривилось от боли. Но он всё-таки сел. Я помог ему только когда он потянулся вставать — подхватил под руку, придержал.

Дёмин встал и несколько секунд просто стоял — держась за берёзу, осторожно распределяя вес. Больная нога держала, но плохо.

— Идти надо, — произнёс я и осмотрелся по сторонам. — Здесь оставаться нельзя.

— Я понимаю, — ответил парень. — Только медленно буду.

— Как сможешь. Главное — идти.

Я тяжело вздохнул. Есть ли там наши? Есть ли вообще куда идти? Три недели в окружении — это много времени, чтобы перестать быть уверенным в чём-либо.

Воспоминания нахлынули неожиданно.

— Есть коридор к северу, — произнёс я, вспоминая всплывающие образы.

— Вы точно знаете?

— Точно.

Он помолчал секунду. Потом кивнул — медленно, как человек, который решил поверить не потому что доказательства убедили, а от безысходности.

— Тогда идём, — произнёс Дёмин, и из его груди вырвался тяжёлый вздох.

И мы пошли.

Дёмин держался хорошо — жердь, которую мы ему отыскивали, делала своё дело.

Он заговорил первым.

— Я сам пришёл, — сказал он. — В военкомат. Не ждал повестки.

Я не ответил — просто слушал.

— Я из деревни под Воронежем, — продолжал он. — Военкомат в районном центре, двадцать километров. Я встал утром второго июля и пошёл. Пешком. Двадцать километров — это я умею.

— Почему второго?

— Первого я не мог. — Он говорил ровно, но в голосе была какая-то тяжесть. — Стоял у ворот нашего двора и не мог уйти. Мать была в огороде — я слышал как она там возится, что-то говорит курам. Она всегда курам разговаривала, как с людьми. — Он помолчал. — Я стоял и слушал. И не мог уйти.

— А второго?

— Второго она уже знала что я уйду. Я ей сказал с вечера. Она ничего не ответила. Утром встала раньше меня, собрала мешок. Там хлеб был, сало, лук, носки шерстяные. Поставила мешок у двери. И ушла в огород.

— Не провожала?

— Нет. — Пауза — короткая, но весомая. — Она так устроена. Если провожать — плакать бы начала. А делать этого она не хотела при мне. Поэтому и ушла в огород.

Мы шли. Лес был тихим — только наши шаги и редкий ветер в ветках.

— В военкомате я простоял два часа у двери, — произнёс Дёмин. — Снаружи. Люди входили — я смотрел на них и не входил. Потом один мужик подошёл — немолодой, с усами, — посмотрел на меня и говорит: ты чего стоишь, парень? Я говорю — вхожу сейчас. Он говорит — ну так и входи. Я говорю — да, вхожу.

— И вошли?

— Да. Потому что стыдно стало перед мужиком с усами. Глупо, но так.

— Не глупо, — ответил я.

— Может и нет. Главное что вошёл.

Мы шли какое-то время молча, а потом Дёмин снова заговорил.

— Я потом думал — надо было дожидаться повестки. Зачем самому идти? А потом перестал думать об этом, потому что какая разница. Всё равно пришли бы.

Я ничего ему не сказал. Иногда достаточно просто слушать и не подводить итог.

Дёмин больше ничего не сказал про военкомат и про мать и про носки. Но что-то в том как он шёл изменилось — будто бы его походка стала легче.

Я шёл рядом и думал о том что не знаю своей истории. Ни военкомата, ни матери. Пустота там где должно быть — это всё.

Но Дёмин шёл рядом — и это была уже какая-то история. Маленькая, сегодняшняя.

Деревня появилась в сумерках.

Три дома. Два сгорели — остались только кирпичные трубы, торчащие из золы. Третий стоял — покосившийся, с чёрными провалами выбитых окон.

Я обошёл дом трижды, прежде чем войти. Следы во дворе были — но старые, недельные минимум. В окна заглянул — темно, тихо. Только тогда поднялся на крыльцо и открыл дверь.

Внутри пахло дымом, сыростью и тем особым жилым запахом, который остаётся в домах ещё долго после того, как хозяева ушли. Печь была холодной. В углу висела маленькая икона.

Я открыл подпол — пусто. Взяли когда уходили. Пошарил по полкам — нашёл мешочек с мукой, горсть картошин, закатившихся в угол. Под лавкой стоял котелок. В сенях — бочка с водой, замёрзшая сверху тонким льдом.

— Садись, — сказал я Дёмину. — Снимай повязку.

Он сел на лавку с видимым облегчением. Начал разматывать тряпку сам — осторожно, медленно.

Нехорошо. Края красные, набухшие.

— Больно? — спросил я.

— Терпимо. — Дёмин смотрел в сторону, стиснув зубы — храбрился. — Главное, что ходить можно.

— Завтра найдём медика, — произнёс я. — Нога требует нормальной обработки.

— А завтра точно найдём?

Я посмотрел на своего собеседника. Он спрашивал серьёзно — не скептически, просто хотел знать.

— Завтра найдём, — ответил я.

Он выдохнул — едва заметно, и с облегчением.

Я растопил печь. Дрова нашлись в сенах — немного, но сухие. Огонь занялся быстро, затрещал, зашевелился.

Поставил котелок с водой и картошкой.

Пока она варилась — молчали. Потом Дёмин спросил:

— Вы откуда, товарищ капитан? Ну, до всего этого.

— Малые Ключи, — сказал я. — Орловская область.

— Деревня?

— Да.

— Я думал — городской. Вы так говорите... Не знаю, — сказал он честно. — По-другому.

— Я в армии давно, — сказал я. — Это меняет.

— Вы на танках долго?

Я подумал секунду. Что-то в вопросе отозвалось — не воспоминание, но ощущение.

— Давно, — сказал я.

— Хотел после службы в Крым съездить, — сказал он немного погодя. — Море посмотреть. Говорят, там совсем другое — тёплое, солёное, и воздух пахнет не так как у нас.

— Говорят, — сказал я.

— Вы были в Крыму?

Я подумал секунду.

— Не помню, — сказал я.

— Ладно, — Дёмин удивился, но не стал спрашивать дальше.

— Вот закончится война и побываешь везде, — произнёс я, сам удивляясь сказанному.

— Правда? — спросил он и улыбнулся — криво, через усталость, через боль в ноге.

— Правда, — ответил я.

А тем временем картошка сварилась — пресная, без соли. Но главное, что горячая. Мы ели молча, и молчание это было хорошим — не тягостным, а просто тихим.

За окном стемнело окончательно. Артиллерия затихла. В тишине был слышен только огонь в печи и дыхание Дёмина — ровное, глубокое. Он уснул прямо на лавке, привалившись к стене. Молодые умеют так.

Я не спал.

Сидел у печи и смотрел на огонь. Думал о том, кто я такой.

Родин Алексей Тимофеевич, двадцать восемь лет, Малые Ключи. Командир танка. Это была оболочка. А внутри оболочки — пустота там, где должна быть жизнь, и вместо неё — этот странный поток знаний, который приходит когда нужен. Карта в голове. Цифры. Даты. Позиции немецких дивизий.

Когда я думал о разбитом танке — что-то откликалось. Не картинки, не голоса. Просто знание рук — как управлять, как командовать экипажем, как читать поле боя из башни. Это было там, целое, нетронутое. А вот где жил до войны, как звали мать, был ли женат — этого не было.

Я закрыл глаза и попробовал специально — сосредоточился на слове «Малые Ключи» и ждал. Ничего. Белая, чистая, ровная тишина.

Зато когда я думал о котле — о том где мы сейчас, о немецких позициях, о коридоре к северу — всё было чётким. Откуда это знание — я не понимал. Просто было.

Я открыл глаза. Угли почти погасли. В комнате стало холоднее. Дёмин во сне что-то пробормотал — неразборчиво, потом замолчал.

Я подумал о нём. О том как он стоял у ворот военкомата и не мог войти. О матери в огороде — она ушла в огород чтобы не плакать при нём. Плакала потом. Когда он уже шёл по дороге и не видел. Это я знал — не из памяти, просто знал. Так бывает с матерями.

За окном ветер. Артиллерия молчала.

Я лёг на вторую лавку, подложил под голову пустой вещмешок, найденный в сених.

Уснул.

Проснулся от стука — осторожного, трёхкратного. Лежал секунду не двигаясь, слушал. За окном темно, в печи угли едва светятся.

Снова стук — тихий, деликатный.

Я встал и подошёл к двери.

— Кто? — сказал я тихо.

— Свои, — ответил голос с той стороны. Немолодой, хриплый, основательный. — Красноармейцы. Нас двое.

— Оружие есть?

— Есть.

— Положите на крыльцо и отойдите на три шага.

Пауза. Потом звук металла о дерево.

Я открыл дверь.

На крыльце лежала винтовка. За крыльцом стояли двое — в трёх шагах, как и просил. Один высокий, немолодой, с густыми тёмными усами и блестящей лысиной. Оба смотрели на меня настороженно, оценивающе.

— Заходите, — произнёс я. — И оружие возьмите.

Они зашли. Высокий огляделся сразу — быстро, профессионально. Увидел спящего Дёмина. Увидел котелок. Увидел меня.

— Старший здесь вы? — спросил он.

— Я. Капитан Родин. Командир танка.

Он кивнул — коротко.

— Ковальчук. Михаил Михеевич. Механик-водитель. — Кивнул в сторону молодого. — Это Петров. Связной, восемнадцать лет.

Петров не улыбнулся. Смотрел на меня всё с тем же выражением — не враждебным, просто закрытым.

— Садитесь, — сказал я. — Картошка осталась, разогрею.

Ковальчук сел на лавку напротив печи — основательно, как садится человек, привыкший к тому что сидеть придётся долго.

— Механик-водитель, говорите, — сказал я Ковальчуку, пока разогревал. — Т-34?

— Т-34. Повезло, достался экспериментальный образец. Таких у нас, раз — два и обчелся. — Он посмотрел на мой комбинезон. — Вы тоже.

— Тоже.

Ковальчук ел медленно. Потом перевёл взгляд на меня.

— Что делаем завтра? — спросил он.

— Идём на север. Есть коридор — там немцы стоят жиже. Если не нарвёмся на патруль — выйдем.

— Откуда знаете про коридор?

— Знаю, — сказал я. — Объяснить не смогу, но знаю.

Ковальчук смотрел на меня ещё секунду. Потом — и в этом было что-то очень характерное для него — просто кивнул и отвернулся к огню. Без дальнейших вопросов.

— Ладно, — произнёс он.

— Сколько идти?

— Дня три-четыре. Зависит от того как пойдём.

Ковальчук кивнул снова. Помолчал. Потом сказал:

— Я под Минском был, в июне. Тоже выходили. На своих ногах — машину бросил, не было выхода.

— Вышли?

— Да, — он сделал паузу. — Не все.

Больше он ничего не сказал. Я не стал спрашивать. Некоторые вещи не требуют продолжения.

Петров уже спал в углу. Ковальчук улёгся на лавку — прямо, просто лёг и вытянулся. Через минуту он уже сопел.

Я снова остался один у печи.

Угли догорали. Думал о том кто я такой. Не в смысле имени. В другом смысле.

Когда я думал о разбитом Т-34 в лесу — о том как осматривал машину, как читал следы боя на броне — тело помнило. Руки знали как открыть башенный люк, как правильно встать при осмотре ходовой части. Это было не сознательное знание, это было другое — вшитое в мышцы.

Тело двигалось на инстинктах, само знало что и как.

А где жил, как звали мать, был ли женат — этого не было. Пустота там где должна быть жизнь.

Я лёг на вторую лавку, подложил под голову пустой вещмешок.

Лежал и слушал дыхание троих спящих — Дёмина, Ковальчука, Петрова. Три человека. Сегодня утром я был один в лесу и не знал кто я такой. Теперь нас четверо и завтра нужно идти на север.

Этого пока достаточно.

Конец первой главы.

Глава 2

Утро пришло серым и сырым, как будто ночь не кончилась до конца, а просто поменяла цвет с чёрного на свинцово-серый. Родин проснулся раньше остальных — не от звука, не от боли, а просто от того, что сон кончился и тело само решило вставать. Так бывает когда спишь вполглаза, не уходя в темноту полностью, а плавая на поверхности — слушаешь и тогда когда не понимаешь что слушаешь.

Он полежал ещё немного, глядя в потолок деревянной избы.

Потолок был низкий, давно не белённый, с тёмным кругом над местом где раньше висела лампа. Свежих следов — немецких, чужих — на потолке не было. Здесь просто жили люди, потом ушли, и теперь их жизнь осталась только в этом запахе — старого дерева, золы, прокисшего молока, которого давно уже не было. Запах жизни держится дольше чем сама жизнь. Родин об этом не думал отдельно, он просто это чувствовал — как фон, как то что всегда есть но обычно не замечаешь.

За окном было светло — белёсо, мутно, но светло. Он встал не торопясь, стараясь не потревожить спящих.

Дёмин лежал на лавке в той же позе что и заснул — привалившись к стене, подтянув колени. Во сне он казался совсем молодым. Да он и был молодой — двадцать лет, может чуть больше. Нога у него лежала неудобно, вытянутая и чуть вывернутая, но он не просыпался от боли, значит, или привык, или во сне боль отступала. Родин посмотрел на него несколько секунд и поймал себя на мысли что думает о нём как о подопечном — не как о чужом человеке которого встретил вчера случайно под берёзой. Это было странно. Объяснить он бы не смог.

Ковальчук спал иначе — прямо, на спине, скрестив руки на груди как будто собирался на дембель а не в котёл. Лицо у него во сне разгладилось, и ушла та внимательная напряжённость которая была в нём вчера. Он оказался не таким старым как казалось — лет сорока пяти, может сорока. Просто очень уставший человек умеет казаться старше.

Петров спал в углу, скрутившись клубком под шинелью. Родин на него смотреть не стал долго. Восемнадцать лет — это почти не человек ещё на войне. Это птенец которого выбросили из гнезда и он падает.

Родин вышел на крыльцо.

Деревня — три дома, два пепелища — лежала в утреннем тумане, тихая и белёсая. Туман был низкий, стелился по земле, обволакивал чёрные остовы сгоревших домов так что трубы торчали из него как обломки мачт затонувшего корабля. Метров на двадцать видимость была хорошая, дальше — молоко.

Он остановился у края крыльца и просто стоял.

Думал о карте в голове. Она лежала там чётко — коридор к северу, немецкие позиции, примерные маршруты отхода, болота которые надо обойти левее. Откуда это в нём — он по-прежнему не понимал. Это было как чужая мебель в пустой квартире — стоит, своё место знает, пользоваться можно, а чьё — непонятно. Если бы он верил в Бога — подумал бы что это подарок или испытание. Но он не знал верит ли в Бога. Это тоже было из пустоты.

Вчера вечером он поймал себя на том что смотрит на собственные руки — на тёмную вьевшуюся смазку под ногтями, на мозоли в определённых местах, на шрам на правой ладони который был точно старым, давним. Руки знали свою работу. Руки помнили броню, рычаги, оружейный замок. Тело знало то чего не знала голова.

Это был странный способ существовать.

Он думал — может быть, так оно и правильно. Может, не нужно помнить всё. Может, тело сохраняет главное, а голова отдыхает от лишнего. Детская мысль, конечно. Сентиментальная. Но что-то в ней было успокоительное.

Туман редел — медленно, незаметно, как будто не таял а просто расступался в стороны. Появились деревья на краю деревни — сначала силуэты, потом стволы, потом ветки. Берёзы стояли голые и прямые, одинаково серые. Осенний лес не имеет цвета — это не метафора, это буквально так. Охра листьев уже отгорела и опала, зелень ушла, снег не лёг — осталось только серо-коричневое, перламутровое, белёсое. Цвет ожидания.

Родин подумал что надо уходить сегодня. Не завтра, не послезавтра, а именно сегодня.

Деревня была слишком очевидным местом. Немецкие патрули проверяли деревни — систематически, методично. Они вообще всё делали систематично. Вот это он знал — не из личного опыта, опять же из этого своего странного потока. Немецкая методичность в зачистке котла. Они умели это делать. Вяземский котёл они закрыли в несколько дней — с немецкой аккуратной точностью, завернули пять армий в кольцо и начали сжимать. Сто тысяч, двести тысяч, полмиллиона человек внутри. Цифры в голове Родина стояли чётко и холодно.

Он вернулся в дом.

Дёмин проснулся когда Родин ставил котелок на едва живые угли. Он просыпался так же как засыпал — постепенно, плавно, без рывка. Сначала зашевелился, потом открыл глаза, потом долго лежал глядя в потолок с тем особым утренним выражением когда человек ещё не вернулся из сна полностью и реальность принимается с некоторым недоверием.

Потом он сел и попробовал ногу — осторожно согнул в колене. Поморщился. Но промолчал. Родин заметил это молчание. Парень не издал ни звука и убрал гримасу с лица быстро, почти незаметно.

Ковальчук проснулся без переходных состояний — просто в один момент лежал и в следующий момент сидел, глядя прямо перед собой. Так просыпаются люди у которых в голове что-то работает даже во сне. Он сразу обвёл взглядом комнату — по периметру, методично — и только убедившись что всё на месте, расслабился.

Петров не просыпался долго. Когда наконец открыл глаза — смотрел в пространство минуты две, потом пришёл в себя резко, как человек которого вернули к жизни не совсем добровольно.

Они ели молча. Горячая вода с остатками муки — это нельзя было назвать едой в полном смысле, но горячее всегда лучше чем холодное, и тело принимало это как должное. Родин наблюдал за ними за едой. Дёмин ел аккуратно, медленно. Ковальчук — экономно, чуть жертвенно, без удовольствия, просто как топливо. Петров ел жадно но пытался это скрыть и потому ел отрывисто, небольшими порциями, что делало процесс каким-то судорожным.

После еды — молчание.

Родин подождал пока все допьют и встал.

Объяснил маршрут на пальцах — примерно, без лишних слов. Север, потом восток, потом снова север. Три дня, может четыре. Ковальчук слушал не перебивая, Петров слушал с тем видом когда слушаешь но думаешь о другом, Дёмин смотрел на Родин с тем же тихим доверием что и вчера вечером — немного тревожным, но настоящим.

Через полчаса вышли.

Первые три часа они шли хорошо.

Лес держал тишину надёжно — не ту тишину которая бывает от отсутствия звуков, а настоящую, живую лесную тишину, в которой шелест и треск и капель с ветвей не нарушают её а составляют. Родин шёл первым, Дёмин за ним — с жердью, ровно, стараясь не отставать. Ковальчук шёл позади всех — замыкающим, и это было его собственное решение, никто ему не говорил. Петров был в середине.

Земля под ногами была мягкой — мёрзлой снаружи, в самом верхнем слое, но под ним сырой, живой. При каждом шаге нога проминала корку и уходила вглубь на сантиметр-полтора.

Это было незаметно первые полчаса, потом начинало работать — мышцы голени уставали от постоянного небольшого усилия.

Родин думал пока шёл.

Думал о том что у него нет ничего кроме этого леса и этих трёх людей за спиной. Документы — есть. Имя — есть. А жизни за именем нет. Он пробовал снова — осторожно, как зондируют больное место, — пробовал вспомнить хоть что-то из того что было до. Ничего. Полная, абсолютная, безупречная пустота. Как экран до показа фильма — не чёрный, не белый, просто никакой.

Это должно было его пугать. Наверное, должно было. Но страха не было — была только какая-то озадаченность, как будто потерял предмет который нужен редко и не сейчас, но неприятно что не знаешь где лежит.

Он подумал — может, это защита. Тело убирает то что мешает выжить. Личная история, привязанности, страхи конкретного человека — всё это груз. Выбросить груз — идти легче. Оставить только то что нужно — карту в голове, знание рук, умение читать лес и слушать тишину. Может, это правильно.

Потом подумал что это неправда. Что это удобная сказка которую он сам себе рассказывает чтобы не бояться.

Он не знал что правда.

Впереди лес начал редеть — деревья расступались, просвет между стволами становился шире. Родин замедлился и остановил жестом остальных. Встал и слушал.

Тишина. Нормальная, лесная — без голосов, без металла, без моторов.

Он подошёл к краю леса медленно, приседая на последних шагах, и из-за толстой сосны осмотрел то что было дальше.

Поляна. Большая, метров двести в поперечнике. Посередине — останки немецкого грузовика, перевернутого на бок, с проломленной кабиной. Колёса смотрели в небо. Рядом с грузовиком — ещё что-то, уже трудно различимое. Несколько тёмных холмиков на земле. Он смотрел минуту, две. Холмики не двигались. Грузовик не дымил — значит, горел давно, не сегодня.

Он жестом позвал остальных. Они вышли к краю леса и встали рядом, смотрели на поляну.

Ковальчук первым понял что это — тёмные холмики. Родин увидел как у него что-то изменилось в лице — не испуг, не горе, что-то другое, тяжёлое, усталое. Человек который видел это раньше — видит иначе чем тот кто первый раз. Петров смотрел на поляну с тем же закрытым лицом что и всегда. Дёмин смотрел серьёзно и молча.

Обошли поляну лесом. Это добавило двадцать минут к пути. Родин не жалел об этом.

Они шли и лес снова сомкнулся вокруг них, густой и равнодушный. Лес не знает о войне — это просто слова. Лес знает о ней отлично. Он всё чувствует — и запах гари, и то как птицы уходят из мест где стреляли, и как земля принимает то что ей дают. Лес знает. Просто ему всё равно — не потому что он жестокий, а потому что он больше.

К полудню небо затянуло плотнее, пошёл мелкий противный дождь — не ливень, а именно мелкий, морозящий, который не промачивает сразу а просто сочится сквозь всё постепенно и через час ты обнаруживаешь что мокрый насквозь и не знаешь в какой момент это произошло.

Они остановились под большой елью. Ель держала зонт неплохо — хвоя плотная, лапы широкие. Сухо под ней не было, но дождь доходил уже каплями, а не сплошным потоком.

Родин смотрел как Дёмин осторожно опускается на землю и вытягивает ногу. Нога давала о себе знать — это было видно по тому как он двигался последний час: чуть тяжелее, с большим усилием, с чуть большим промежутком между шагами. Он не жаловался. Родин не спрашивал.

Ковальчук стоял опираясь о ствол ели и смотрел куда-то в лес. Он думал о чём-то — это было очевидно по тому как он стоял. Человек с таким лицом всегда думает о конкретном, не абстрактном. О ком-то. Родин не стал спрашивать об этом тоже.

Петров сел рядом с Дёминым и они молчали вместе — это было странно, потому что вчера вечером между ними не было никакого особого контакта, но сейчас в их молчании было что-то общее, какая-то молодая, невысказанная общность. Может, просто возраст. Дёмин — двадцать, Петров — восемнадцать. Разница небольшая, но заключается в том что один уже умеет терпеть молча а другой ещё нет.

Дождь все шел...

Родин сидел на корне и думал о маршруте. Завтра — болото, его надо обходить. Это добавит полдня. Но идти через болото в октябре — плохая идея даже для здорового, а у Дёмина нога. Болото подождёт.

Он думал о болоте и понял что знает это место. Не видел его ни разу в жизни — точнее, не помнил что видел, — но знал. Размер, примерные берега, где твёрдая почва а где нет. Это снова из того потока. Это снова чужая мебель в пустой квартире.

Он закрыл глаза и просто начал слушать дождь.

Дождь на ели звучит иначе чем на берёзе или на открытом месте. Он шуршит, мягко, многоголосо. Каждая капля попадает на хвою и рассыпается на меньшие, и те в свою очередь падают с лапы на лапу — вниз, ниже, до земли. Долгий путь у каждой капли. Родин слушал это и думал что если бы у него была другая жизнь — не эта, без памяти, без истории, — он бы умел наслаждаться таким дождём. Может, он умел. Может, раньше умел и забыл вместе со всем остальным.

Может, помнит только тело — и тело сейчас слушало дождь и находило в этом что-то, что не называет словами.

Дождь утих через полчаса — не кончился, просто стал совсем тонким, почти иллюзорным. Можно было идти.

Родин встал и посмотрел на своих людей.

Своих. Слово пришло само и он не стал его гнать. Странное слово — вчера утром он лежал один в лесу и не помнил никого. Сегодня у него было трое своих.

Он не знал как это работает. Знал только что работает, а как — не имеет значения.

Они встали и пошли дальше.

Конец второй главы.

Глава 3

К вечеру второго дня ноги перестали болеть — не потому что прошли, а потому что боль стала фоном, частью движения, чем-то вроде собственного веса которое несёшь и не замечаешь пока не сделаешь остановку.

небольшой отряд из четырех человек остановился.

Место для ночлега нашёл Ковальчук — молча, без объяснений. Он просто свернул чуть левее от маршрута и все остальные пошли за ним

Небольшой овраг, склон которого прикрывал с севера. Старые ели, плотные, с опавшей хвоей под ними — рыжей, сухой, несмотря на дождь который шёл весь день. Хорошее место. Ковальчук умел находить такие места — не думая, каким-то другим способом, который думанием не назовёшь.

Родин с интересом и усталостью смотрел как они устраиваются.

Петров сел на склон оврага и начал разматывать портянки — молча, методично, с тем особым сосредоточенным видом когда человек делает что-то неприятное и единственный способ справиться это думать только о следующем движении, а не о всём сразу. Ноги у него были в плохом состоянии — это Родин понял ещё в середине дня, по тому как менялась его походка. Мозоли или начинающиеся волдыри. Восемнадцать лет, военные сапоги и три дня хода по мокрому лесу.

Это предсказуемо.

Дёмин лёг на спину сразу, прямо на рыжую хвою. Не спал — просто лежал, глядя в ели, давая ноге отдых. Жердь он воткнул в землю рядом с собой — вертикально, как флагшток. В этом жесте было что-то усталое и в тоже время аккуратное, будто бы пристроил инструмент на место.

Ковальчук отошёл к краю оврага и встал там, глядя в темнеющий лес. Спина к остальным. Это была его привычная позиция, находится от других чуть в стороне, чуть отдельно. Не одиночество и не отчуждённость — просто граница, которую человек держит вокруг себя и которую Родин научился уважать ещё к концу первого дня.

Родин сел на корень и посмотрел на них. Четыре человека — вернее трое плюс он сам, отдельной категорией. Трое у которых были имена, истории, чья-то ждущая жизнь позади. И он — оболочка с документами.

Он поймал себя на том что не думает о себе с жалостью. Это было важно. "Пустота" внутри не болела, она была просто пустотой... как безлюдная комната, в которой можно жить и можно ставить вещи. Возможно, именно поэтому он так легко принял этих троих — некого было теснить.

Стемнело быстро. Октябрь был жаден на свет и никогда не давал длинных вечеров.

Костра не разводили — слишком близко к тому месту где они обошли поляну. На ужин — остатки хлеба, один из двух найденных в танке пайков, делённый на четыре части с той математической справедливостью которая возникает сама без договорённостей.

Жевали молча. Темнота вокруг была живой — шуршала, потрескивала и дышала.

Потом Ковальчук вернулся от края оврага и лёг рядом с Петровым — не близко, на расстоянии вытянутой руки, а затем накрылся шинелью и уже через несколько минут его дыхание выровнялось.

Петров не спал ещё долго. Родин это знал. Он не видел его в темноте, но чувствовал. Так бывает когда кто-то не спит рядом. В воздухе остаётся незримое напряжение бодрствующего человека, что-то неуловимое но реальное.

Родин сидел и думал.

Думал о Петрове.

За два дня парень не сказал почти ничего. Несколько слов — одно-два в ответ на прямой вопрос, не больше. Это не было угрюмостью — угрюмость Родин бы почувствовал. Это было что-то другое. Как будто слова у него заперты — не намеренно, а потому что замок защёлкнулся сам и ключ потерялся.

Восемнадцать лет. Связной. Это значит — бегал с донесениями между позициями. Значит, видел всё снаружи, не изнутри укрытия. Связной в котле — это человек который знает о происходящем больше других, потому что ходит, потому что видит. Иногда это хуже чем не знать.

Что он видел — Родин не знал. Мог представить. Но не стал — не потому что боялся думать об этом, а потому что чужое горе требует разрешения, а разрешения никто не давал.

Думал о Ковальчуке.

Тот сказал — под Минском в июне, выходили, но вышли все вышли. И всё. Больше ни слова. У него была в этой фразе такая интонация когда человек не замалчивает а именно всё сказал — вложил в три слова то для чего обычно нужно три часа. Родин умел слышать такие интонации. Откуда умел — не знал. Умел, и всё.

Ковальчук был из тех кто переживает потери как переживают физическую травму — сначала острая боль, потом тело привыкает, остаётся жить с тем что осталось. Не забывает — именно привыкает. Это особый вид твёрдости, не самый заметный, но настоящий.

Думал о Дёмине.

О его матери в огороде. О том что Дёмин рассказал это Родину — почти незнакомому человеку, в первые же часы — и при этом не жалел ни разу о рассказанном. В нём не было этой стыдливости которая бывает у людей открывшихся слишком рано. Он рассказал и пошёл дальше. Потому что это было просто правдой — ни тяжёлой, ни лёгкой, просто правдой его жизни.

Нога у него болела. Это Родин знал точно — не по тому что Дёмин показывал, а по тому что не показывал. Когда человек всерьёз устал терпеть — он перестаёт демонстрировать что терпит. Просто идёт. Родин видел это и думал что завтра надо будет остановиться раньше обычного, пока нога не загноилась окончательно.

Ночь была тихой.

Артиллерия не стреляла — вторую ночь подряд. Это было странно и Родин знал почему: из того потока, из карты в голове. К северу от них — туда куда они шли — должна была идти работа. Немецкие позиции не должны были молчать. То что они молчали могло значить несколько вещей, и не все из них были хорошими.

Он не стал додумывать, это и так завтра будет видно.

Лежал на хвое и смотрел в ели над головой, которые теряли форму в темноте и становились просто тёмными пятнами неба. Звёзд не было. Слишком плотная облачность с самого утра.

Он думал о том что значит быть командиром.

Не в уставном смысле — ответственность, приказы, субординация. В другом. В том что когда трое людей идут за тобой в темноте по чужому лесу, доверяя карте которая существует только у тебя в голове и которую ты не можешь им показать — это особый вид доверия. Не слепого — Ковальчук вслепую не доверяет никому, это было очевидно. Осознанного. Они выбрали идти за ним, потому что оценили и сами так решили.

Ну, или от безысходности.

Он не знал был ли хорошим командиром — до всего этого, до "пустоты". Документы говорили — капитан, четвёртая бригада. Это факты. А каким человеком был тот капитан Родин который командовал экипажем разбитого Т-34 — этого он не знал. Строгим или мягким. Осторожным или нет. Любили его люди или просто слушались.

Тело помнило команду — но не отношение. Руки помнили рычаги, но не лица.

Он подумал что сейчас это не важно. Того Родина, что был больше нет. Нынешний Родин — здесь, в овраге, с тремя людьми которые спят или пытаются спать рядом.

И он должен их вывести.

Это он знал точно.

Знал и сделает.

Под утро пошёл снег.

Не настоящий — мелкий, мокрый, скорее дождь который не совсем понял что делает. Он таял едва касаясь земли, оставляя на хвое тонкий белёсый налёт который исчезал через несколько минут. Но воздух от него изменился — стал плотнее, тяжелее, с тем особым запахом которого нет ни у чего кроме первого снега.

Родин проснулся от этого запаха.

Лежал и слушал снег. Он падал тихо — тише дождя, тише всего.

Ковальчук уже не спал — сидел в той же позе что и вчера вечером, опираясь спиной о склон оврага и смотрел на снег. Что он думал — было неизвестно. Лицо у него в такие моменты становилось совсем простым, почти пустым — не от отсутствия мыслей, а от их избытка, когда всё уходит внутрь и снаружи не остаётся ничего.

Они смотрели на снег вместе, молча, несколько минут.

Потом Ковальчук тихо сказал — не к Родину, скорее к снегу или к себе:

— Рано в этом году.

Родин не ответил. Его слова не требовали ответа.

Дёмин проснулся когда уже совсем рассвело. Сел, посмотрел на белёсый налёт на хвое — и на лице его появилось выражение которое Родин увидел впервые за два дня. Не радость и не тревога — что-то среднее, что бывает когда видишь знакомое в незнакомом месте. Наверное, в деревне под Воронежем первый снег выглядел примерно так же. Наверное, мать выходила смотреть. Наверное, куры не знали что делать.

Петров снег не заметил — или заметил, но не показал виду. Он уже перематывал портянки, согнувшись над ногами с сосредоточенностью человека который делает хирургическую операцию.

Они поели последнее что было. Немного. А затем они отправились дальше.

Конец третьей главы.

Глава 4

Болото появилось раньше чем Родин ожидал.

Он знал что оно будет — карта в голове говорила ему, где нужно взять левее или правее, где и что обойти и так далее. Но карта в голове — это одно, а болото в октябре — другое. Оно и не выглядело как болото должно выглядеть в воображении — тёмная вода, камыш и очевидная опасность.

Оно выглядело как лес, который был немного другим — деревья реже, под ногами не мёрзлая земля а что-то другое, слегка пружинящее, а трава — особая, длинная, жёсткая и рыжая — какой не бывает на сухом месте.

Родин остановился и стоял несколько минут.

Он шупал ногой почву — осторожно, переноса вес постепенно. Держала. Но не так как должна была это делать. Здесь была граница — невидимая и нечёткая, которую нужно чувствовать а не видеть.

Пройти можно было. Примерно здесь — если держаться правее — там где деревья гуще и почва тверже под ними.

Нельзя.

Дёмин с его ногой — не получится. Если нога уйдёт в трясины — всё. И вытащить будет трудно, и его рана. Мокрая и холодная трясина в октябре это прямой путь к антонову огню.

Странно, но это словосочетание к Родину пришло само — просто всплыло в сознании. Он о нем не думал, думал он о том что будет с раной, а словосочетание пришло само, из медицинского знания которое тоже было где-то на подкорочке.

Нужно обойти.

Он посмотрел налево вдоль края болота. Лес там был реже, просматривался дальше и это было плохо. Правее — гуще, но там были овраги, поваленные деревья, бурелом.

Пару минут Родин стоял и думал. Нужно идти правее.

Он объяснил это жестом — просто показал направление. Ковальчук понял сразу. Дёмин — через секунду, посмотрев под ноги и почувствовав что почва здесь не такая, а Петров просто пошёл куда показали.

Обход занял три часа.

Это были тяжёлые три часа — не опасные, просто трудные. Бурелом был настоящий: деревья падали здесь один на другой, некоторые давно, их стволы уже осели в мох и мягко прогибались под ногой, других — недавно, свежо, с задранными корнями и торчащими сучьями. Нужно было лезть через, под, вокруг — без ритма, без удобного шага, каждый раз заново решая как пройти.

Родин шёл первым и прокладывал путь — выбирал где безопаснее, где можно наступить, где нельзя. Это было знакомое ощущение — он понял это не сразу, а постепенно, по тому как тело работало без лишних усилий. Читать препятствие, выбирать оптимальный маршрут через — это было не навык выживания, это было что-то профессиональное. Может, из времени до армии. Может, из детства в Малых Ключах.

Он не знал. Это просто работало.

Дёмин шёл сложнее всех. Это было видно по тому как он подходил к каждому препятствию — останавливался перед ним на секунду дольше, чем нужно для оценки. Думал как преодолеть с одной рабочей ногой. Можно ли перелезть. Обойти, если есть другой путь. Или подлезть под. Жердь была неудобна в буреломе и постоянно цеплялась за что-то и застревала. Дёмин несколько раз брал её поперёк и перебрасывал через ствол, потом перелезал сам и подбирал с другой стороны.

Родин видел это но не предлагал помощь. Знал что Дёмин не возьмёт — не из гордости, а из того особого крестьянского расчёта: справлюсь сам — значит справлюсь сам. Помощь нужна когда уже самому не вмоготу.

Петров помогал Дёмину. Это получилось само — без слов, без предложения. Просто в какой-то момент Петров оказался рядом и взял жердь когда нужно было, подставил плечо когда Дёмин перелезал через особенно высокий ствол.

Дёмин принял это спокойно. Они просто шли рядом и это было уже отдельная маленькая система внутри их четвёртки.

Ковальчук шёл замыкающим. Его шаг был лёгок. При его росте и опыте бурелом был просто бурелом. Он перешагивал большую часть препятствий или перелезал через них с той механической обстоятельностью которая была в нём во всём.

На краю бурелома, уже у чистого леса, Дёмин остановился.

Не упал — просто остановился и стоял, опираясь на жердь двумя руками, смотря в землю. Дышал глубоко, ровно — он умел дышать правильно, это Родин заметил ещё вчера. Не часто и поверхностно когда боль, а наоборот — медленно, с усилием, как будто дыхание было инструментом а не просто функцией.

Родин остановился рядом.

Через минуту Дёмин выпрямился — медленно, по частям, сначала спина, потом плечи — и сделал шаг вперёд.

Они вышли из бурелома в чистый лес, и он принял их обратно в свою тишину — ровный, берёзовый, без поваленных деревьев, с мягкой землёй.

Идти стало гораздо легче — как будто переключили передачу.

Родин думал о Дёмине.

Думал что этот парень из тех кто не ломается — не потому что не чувствует боли, а потому что боль для него не аргумент. Не доказательство того что надо остановиться. Это редкое качество и оно не воспитывается — оно или есть или нет. Откуда оно в нём — в его двадцати годах, Родин не знал. Может, он таким просто родился, может из—за матери, а может в Воронеже все такие.

Вспомнив о матери Дёмина, он подумал вот о чем.

О том что она не знала где сейчас сын и что с ним. Может, уже пришла бумага — «пропал без вести», это котёл, а из него писали именно так. Может, не пришла. А может, она ходит в огород каждый день и разговаривает с курами и ждёт.

Этого знания, что с ней — у Родина не было. Карта в голове не содержала деревни под Воронежем и одной женщины в огороде.

Он подумал что хорошо бы было — если бы Дёмин вышел. Вернулся. Чтобы мать его увидела.

Это было похоже на сентиментальность. А затем в его голову пришла мысль, что на войне в октябре сорок первого, в окружении, с тремя людьми за спиной — позволить себе немного сентиментальности, наверное, не преступление.

Они шли.

К середине дня их небольшой отряд оказался возле дороги.

Она была грунтовая, разбитая — видно что недавно по ней ходила техника. Глубокие следы широких шин в раскисшей земле, кое-где гусеничные отпечатки. Всё это уже размыто дождём, оплывшее по краям — значит, не сегодня и не вчера. Дня три, может четыре.

Родин смотрел на дорогу долго.

С одной стороны — дорога это риск. Открытое место. Если идёт патруль — некуда деться быстро, только в лес, и с Дёминым это не быстро. С другой стороны — дорога это направление.

Дороги здесь идут вдоль, а не поперёк — и если эта идёт туда куда им нужно, то держаться её краем, в лесу, быстрее чем ломиться через чащу.

Он оценил следы. Немецкие — это точно. Характерная ширина колеи, характерный рисунок протектора который он видел раньше и который тело идентифицировало автоматически. Значит, дорога использовалась немцами. Значит, по ней могут идти снова.

Перейти и уйти в лес с той стороны — там, судя по карте в голове, открытой местности меньше.

Это был правильный вариант.

Он показал, что нужно перейти быстро, не по одному, а вместе.

Миновали дорогу за двадцать секунд.

Ковальчук замыкал, оглядывался. Никого. Дорога была пустой в обе стороны насколько хватало взгляда.

Лес с той стороны принял их сразу.

Привал устроили через час после дороги — в низине между двух пологих холмов, защищённой от ветра. Место хорошее. Дёмин лёг на спину не дожидаясь разрешения — просто лёг, как ложится очень усталый человек.

Родин присел рядом и посмотрел на его ногу.

Плохо. Хуже чем вчера вечером — повязка мокрая насквозь, от бурелома и снега и просто от ходьбы по сырому лесу. Края раны под тряпкой он не видел, но знал какие они. Такие раны не ждут. Они делают своё пока ты идёшь и думаешь о другом.

Нужна была нормальная помощь. Сегодня.

Он думал о том что знал из карты — примерно в трёх километрах к северо-востоку должна была быть деревня. Большая по местным меркам — домов двадцать, может тридцать.

Была ли там немецкая позиция? Нет, ее там быть не должно. Слишком маленькая, слишком в стороне от основных маршрутов. Могли быть свои. Окружённые несколько групп, таких как они сами, стягивались к этому направлению.

А могло не быть никого.

Он подумал что идти туда — риск. Подумал что не идти — тоже риск. Взвесил одно с другим.

Три километра — это час. Может меньше если идти напрямик.

Родин встал и посмотрел на Ковальчука. Тот смотрел уже смотрел на него и ждал, что он скажет. Он умел ждать решения, не торопил, не предлагал своего раньше времени. Это была одна из его черт которую Родин успел оценить за два дня.

Родин вкратце объяснил, что на северо-востоке располагается деревня в трех километрах отсюда.

Ковальчук посмотрел в ту сторону. Подумал немного и молча кивнул.

Они встали и пошли в нужном направлении.

Деревня была.

Восемнадцать домов, не тридцать — карта в голове немного ошиблась. Но не суть. Главное, деревня была, а все остальное не так важно.

А еще сразу было понятно, что в ней есть люди. Это было понятно по дыму, который выходил из печных труб

Родин вышел к деревне один — остальных оставил в лесу, метрах в двухстах. Обошёл с края, посмотрел. Следов немецкой техники у домов не было. У крайнего дома сидел на завалинке старик в тулупе. Он просто сидел и смотрел в ничто с тем особым стариковским взглядом, когда смотришь не на что-то конкретное а просто смотришь потому что привык.

Родин вышел из леса открыто — без оружия в руках.

Старик повернул голову и посмотрел на него без испуга. Видно, видал уже всяких — лес вокруг полон был такими как Родин, это чувствовалось.

— Немцы здесь были? — спросил Родин тихо.

— Проехали три дня назад, — ответил старик. — Не останавливались.

— Свои есть?

Старик помолчал. Потом сказал:

— Есть. Во втором доме от края. Их там человек семь. Военфельдшер с ними.

Военфельдшер.

Родин стоял секунду с этим словом.

— Спасибо, — сказал он.

Старик кивнул и снова посмотрел в ничто.

Родин вернулся к лесу за своими.

Пока они шли к деревне — последние двести метров, по открытому полю — Родин смотрел на них со стороны.

Четыре человека. Один шёл с жердью и без жалоб. Один шёл замыкающим и смотрел назад каждые тридцать секунд — привычка замыкающего. Один шёл молча и немного отдельно как всегда, но уже не так далеко отдельно как в первый день.

И он сам. Впереди. Без памяти, без истории, с чужой картой в голове.

Три дня назад он лежал один в лесу и не знал кто он такой. Сейчас он вёл троих людей к деревне где был военфельдшер.

Он думал — может быть, вот это и есть кто он такой. Не документы, не Малые Ключи, не военный билет. Вот это — идти впереди и выводить.

Возможно, так и было, кто знает?

На войне ни в чем нет точной уверенности.

Но одно Родин знал точно, если в доме действительно окажутся свои и среди них есть Военфельдшер, то им помогут.

Обязательно помогут.

Конец четвертой главы.

Глава 5

Дом был второй от края — как и сказал старик.

Родин подходил к нему медленно, с той осторожностью, которая за четыре дня в лесу стала почти рефлексом — не страхом, а именно рефлексом, как например привычка смотреть под ноги когда идешь по мокрому асфальту.

Он шёл чуть впереди остальных, и остальные члены отряда его не обгоняли. Так уже устроилось само — без разговоров, без договорённостей. Просто порядок, который возникает из того, что люди знают друг друга достаточно хорошо, чтобы не объяснять.

Они знали друг друга всего несколько дней, но война сильно меняет временные рамки.

Дом был крепче соседних — бревенчатый, с закрытыми ставнями и с трубой из которой шёл дым. Плотный, живой, настоящий. Печь топилась давно и хорошо. Это было первым хорошим признаком.

Перед крыльцом в земле было несколько отпечатков сапог — размытых, но различимых. Советские сапоги, не немецкие. Размеры разные. Ходили сюда из нескольких мест. Следы шли с разных сторон, пересекались у крыльца.

Значит, не один человек и не первый день.

Родин поднялся на две ступени и постучал — негромко, тремя ударами.

За дверью была тишина секунд пять. Потом до его слуха донеслись какие-то движения. Половица скрипнула. Кто-то подошёл к двери изнутри и встал у неё. Родин почувствовал это по тому как изменилось молчание. Молчание пустой комнаты и молчание человека стоящего у двери — разные вещи.

— Кто? — поинтересовались с другой стороны двери.

Голос явно был женским. Молодой, но не испуганный, а скорее сдержанный.

— Капитан Родин. Четвёртая танковая. Нас четверо, один раненый.

Пауза была недолгой, в след за ней, дверь открылась.

На пороге стояла женщина. Невысокая, лет двадцати пяти, может чуть больше. Тёмные волосы убраны назад, лицо усталое, но не измученное, что само по себе, разные вещи. Усталость можно перетерпеть, измученность — совсем другое. На ней был халат поверх гимнастёрки — серый, застиранный, с бурыми пятнами на рукаве которые уже не отстирать. Сумка медицинская стояла у стены за её спиной и была раскрыта.

Видимо, ей пользовались недавно.

Военфельдшер.

Она посмотрела на него прямо, оценивающе и без суеты. Потом перевела взгляд за его плечо — на Дёмина с жердью, на Ковальчука, на Петрова.

— Заходите, — сказала она. — Раненый где?

— Вот, — Родин кивнул на Дёмина.

Она посмотрела на молодого паренька с тем профессиональным взглядом, в котором нет ничего личного — только информация. Нога, жердь, как идёт, как держит корпус. Секунды три.

— Садись сюда, — сказала она Дёмину — не грубо, просто без лишних слов. — Остальные тоже заходите.

Внутри было неожиданно тепло. После четырёх дней леса тепло ощущалось почти физически — как что-то плотное и обволакивающее. Родин остановился в дверях на секунду просто чтобы принять это. Тело реагировало раньше головы — напряжение в плечах, которое накапливалось дни, немного сдвинулось на задний фон. Совсем немного, но заметно.

Комната была большой по деревенским меркам — две лавки вдоль стен, стол и печь. На полу — соломенные подстилки, на них лежали и сидели люди. Родин считал автоматически: один, два, три, четыре, пять.

Пятеро. Ещё двое у стены — один спал, другой смотрел в потолок с тем взглядом которым смотрят, когда смотреть больше некуда.

Итого семь — как и сказал старик.

Разные — по возрасту, по виду. Пехота, судя по петлицам. Один был артиллерист. Один — без петлиц вообще, в разодранной гимнастёрке которую латали дважды. Все измотанные, но не сломанные. Люди в котле после третьей недели — это видно сразу. В них есть что-то, что очень сложно описать словами. Первая паника прошла, отчаяние тоже как-то переварилось, осталась только тихая упрямая воля идти дальше потому что это единственное что имеет смысл.

На Родина и его людей смотрели — без враждебности и радости, а просто оценивающе. Чужие пришли — кто такие, что умеют, звание, возраст.

Этот взгляд Родин определил сразу. Он и сам так на всех смотрел.

Военфельдшер уже сидела рядом с Дёминым и разматывала повязку — быстро, но осторожно. Дёмин сидел прямо и смотрел куда-то в стену, не на ногу. Это был его способ терпеть — не смотреть на то что болит.

Родин пристроился на краю лавки у стены и просто сидел. Позволил себе просто сидеть — первый раз за четыре дня. Это требовало некоторого усилия. Тело за четыре дня привыкло к движению, к постоянной лёгкой готовности двигаться дальше или прятаться, и теперь не вполне понимало что от него хотят. Он положил руки на колени и закрыл глаза.

Ковальчук встал у стены, как всегда, немного отдельно. от остальных. Петров сел на пол у двери, подтянув колени к груди. Маленький, в этой позе он выглядел особенно молодо — почти мальчиком. Восемнадцать лет в большой комнате среди чужих взрослых людей.

Один из лежавших на полу — немолодой, с перебинтованной рукой — приподнялся на локте и посмотрел на Родин.

— Откуда? — спросил он, просто так. Скорее всего, чтобы начать разговор.

— С востока, — ответил Родин. — Четыре дня.

— Видели что-нибудь?

— Поляну с немецким грузовиком. Болото. Дорогу с немецкими следами, трёхдневной давности.

Тот кивнул и задумался, видимо переваривая полученную информацию.

— Патрули?

— Ни одного.

Это вызвало лёгкое движение в комнате — люди переглянулись, не все, но несколько точно. Хорошая новость. В котле хорошие новости весят много, даже маленькие.

— Мы здесь второй день, — сказал немолодой. — До этого шли от Ельни. Восемь дней.

Восемь дней. Родин ничего не сказал. Восемь дней из-под Ельни — это значит они видели то что было на западном фланге котла. Там было хуже. Это он знал точно. Эти странные знания на "подкорке", которые часто возникали у него в сознании и не давали покоя. Там немцы стянули больше сил, там плотность была выше, там выходили группами по ночам и не все они возвращались.

Многие не возвращались...

Восемь дней — и они здесь, живые и относительно целые. Это значило что они умели идти и умели выживать.

Военфельдшер работала молча. Родин смотрел на неё краем глаза — не пристально, просто наблюдал. Она разматывала повязку без спешки, но и без лишних движений — каждое движение было точным и нужным. Видно что делала это много раз.

Когда повязка сошла, она осмотрела рану. Потом что-то тихо произнесла под нос. Это было не какое-то определенное слово, просто звук, но было в нем что-то такое, что Родину не понравилось.

Дёмин всё так же смотрел в стену.

— Больно? — спросила военфельдшер.

— Терпимо, — ответил он.

— Терпимо это как?

— Так, как и сказал, — Дёмин пожал плечами.

Она посмотрела на него коротко — не на рану, а именно на паренька.

Этот взгляд был другой — не медицинский, а просто человеческий, после чего вновь вернулась к ране.

— Четыре дня?

— Ага, - кивнул Дёмин.

— Шёл?

— Как мог.

— Понятно, — коротко произнесла она, а затем встала и взяла свою сумку, после чего начала в ней копаться, доставая изнутри все нужное.

Вскоре, она приступила к ране.

Дёмин на этот раз закусил губу. Значит, не просто больно, а очень больно. Когда человек который умеет терпеть всё—таки закусывает губу, это в первую очередь говорило о том, что все очень серьезно.

Родин смотрел на это и думал о том, что правильно сделал, что пошёл к деревне сегодня, а не завтра.

Завтра могло быть поздно. Не в смысле смерти, нет Дёмин бы не умер, но заражение делало своё тихо и терпеливо, и к тому моменту когда начнешь это осознавать — будет уже поздно.

Решение идти сюда было правильным.

Это было приятно — не потому что он хотел быть правым, а потому что это значило что его карта в голове "работает". Он мог на нее полагаться, и делать это можно было и завтра и вообще...

Начало темнеть. Октябрь не давал много дневного света, и сегодняшний день не был исключением. В комнате горела одна свеча, и длинных теней, что появлялись из-за ее свечения в комнате, было больше чем самого света.

Родин сидел и слушал.

Комната была тихой, но живой. Дыхание людей, потрескивание печи, звук ветра. Кто—то во сне перевернулся и вздохнул. Военфельдшер работала с Дёминым. Ковальчук у стены смотрел в окно.

Петров не спал. Родин это почувствовал — то же ощущение что и в овраге ночью. Незримое напряжение бодрствующего человека. Он сидел у двери, подтянув колени, и смотрел на военфельдшера. Не так как смотрят на красивую женщину, и не так как смотрят на врача. Как —то иначе. Родин не мог определить точно. Просто смотрел, и в этом взгляде было что-то такое, что не выражается словами у восемнадцатилетнего.

Может, она напоминала ему кого—то.

Может, он просто никогда не видел как делают такую работу — спокойно, уверенно, без страха.

Военфельдшер закончила с повязкой и завязала. Сказала что—то Дёмину — тихо, Родин не расслышал.

Паренёк кивнул. Она поднялась и убрала инструменты в сумку — методично, каждый предмет на своё место.

Потом она подошла к Родину.

Встала перед ним и посмотрела на него с тем же прямым, оценивающим взглядом. Не агрессивным, просто взглядом человека который не привык зазря тратить, как своего, так и чужого времени.

— Вы командир? — спросила она.

— Да.

— Как дальше пойдёте?

— На север. Там коридор.

— Когда?

— Завтра утром, — сказал Родин.

Она кивнула. Это было согласие — не формальное, а настоящее. Как будто она тоже взвесила варианты и пришла к тому же выводу.

— Меня зовут Старцева, — сказала она. — Надежда Старцева. Военфельдшер.

— Родин.

— Я знаю. Вы сказали у двери.

Пауза. Она всё ещё стояла перед ним.

— Здесь семь человек, — сказала она. — Трое не могут идти быстро. Один вообще едва ходит — нога сломана, это не осколок, это перелом. Плохо срастается.

— Я понял.

— Вы говорите что знаете про коридор.

— Да.

— Откуда?

Родин на секунду остановился. Это был тот вопрос который он не мог ответить честно — не потому что хотел скрыть, а потому что честный ответ звучал бы странно. Потому что просто знаю, карта в голове, откуда не помню — это не тот ответ который нужен человеку который стоит перед тобой с семью ранеными людьми и хочет знать стоит ли тебе доверять.

— Из разведданных которые были до окружения, — сказал он. — Я помню примерную диспозицию.

Это было не совсем ложью. Это была версия правды, которую можно было объяснить.

Старцева смотрела на него ещё секунду. У неё был взгляд человека который умеет читать людей — не как умение из книжки, а как навык из практики. Хорошая черта для военфельдшера.

— Хорошо, — ответила она, после чего повернулась и ушла к своей сумке.

Родин посмотрел ей вслед.

Надежда Старцева. Военфельдшер. Двадцать пять лет, может чуть больше. Здесь с семью людьми, двое из которых едва ходят. Уже второй день в деревне — значит решение остаться здесь она приняла сама, и приняла его потому что двое едва ходили. Не бросила. Осталась.

Это говорило о ней больше чем любой разговор.

Ночь пришла плотная, беззвёздная — небо было такое же как всё утро, только теперь чёрное вместо серого. Ветер к вечеру усилился и тихонько перебирал ставни, ища щели.

Найдет — не найдёт, всё равно будет искать. Ветру в октябре нечего делать кроме этого.

Люди в комнате укладывались спать по—разному.

Пятеро из тех что пришли раньше — по-сложившемуся порядку—каждый знал своё место. Тот, что едва ходил — со сломанной ногой, лежал у стены, ближе к печи. Это было очевидно и правильно, поэтому никто не занимал это место.

Раненый с перевязанной рукой — у другой стены. Остальные — как придётся. Без споров и разбирательств. Люди которые несколько дней живут рядом — притираются не через разговоры, а через быт. Через то как укладываются и встают, через то сколько места занимают, через то как молчат.

Дёмин улёгся на лавку — медленно, осторожно устраивая ногу. Лёг и закрыл глаза почти сразу. Нога его болела — Родин это знал, но тело требовало сна сильнее чем боль требовала внимания. Молодые умеют так засыпать несмотря на боль. Может, это тоже своего рода защита — тело умнее головы, знает что сейчас нужнее.

Ковальчук лёг не сразу. Долго сидел у стены, смотрел на огонь в печи. Дверца была открыта и огонь делал тени живыми, двигая их по стенам. Что он думал — невозможно было сказать. Может, о Минске. Может, ни о чём конкретном, просто смотрел в огонь, потому что после долгого дня это лучше чем думать.

Петров в какой-то момент пересек комнату и устроился рядом с лавкой, где лежал Дёмин. Не вплотную, но рядом.

При этом, сделал это так тихо, что никто даже внимания на него не обратил. Просто пересел и так и остался, обхватив колени руками. Что-то в этом жесте было детское — не в плохом смысле, просто в человеческом. Человек всегда тянется к тому, с кем ему чуть спокойнее. Даже если не осознаёт этого.

Старцева не ложилась.

Она сидела у стола где горела свеча и писала что-то в маленькую тетрадку. Родин не знал что. Может, медицинские записи. Может, что-то другое. Люди которые ведут записи в таких условиях — особенные люди. Это требует веры в то, что запись будет иметь значение потом. Что она будет прочината. Что человека, кто ее писал услышат.

Родин сидел у стены и смотрел на всё это.

Комната была полна людей — одиннадцать человек, считая его самого и при этом была тихой. Тишина людей которые устали и знают что завтра снова нужно идти. Это особая тишина — не мёртвая, а просто экономная. Слова стоят сил, а силы нужны завтра.

Он думал о том что изменилось за четыре дня.

Утром первого дня он лежал один в лесу, не знал кто он такой, не знал где он. У него было имя в военном билете и пустота там где должна быть жизнь. Вот и всё.

Сейчас он сидел в тёплой комнате, в которой спали и дышали одиннадцать человек — и часть из них завтра пойдут за ним. Не потому что он приказал. Потому что он знает куда идти. Этого пока хватало.

Свеча догорела — без предупреждения, просто в один момент была и в следующий момент её не стало. Старцева закрыла тетрадку в темноте, по памяти и легла.

В комнате стало совсем темно — только слабое мерцание из щели печной дверцы. Огонь там ещё жил, просто тихо, уже не для тепла а просто потому что дрова ещё не догорели.

Родин лёг на пол — места на лавках не было, и он не стал претендовать на них Подложил под голову скатанную шинель и закрыл глаза.

он слушал комнату.

Дыхание. Все одиннадцать человек дышат по-разному. Ровное, глубокое и чуть хриловатое у того — с перебинтованной рукой. Лёгкое, почти неслышное у кого-то у стены. Дёмин дышал ровно. Всё-таки уснул несмотря на ногу. Ковальчук тоже — его дыхание было узнаваемо. Петров...

Петров не спал. Опять.

Родин слушал.

Петров лежал тихо, но не спал. То особое напряжение бодрствующего человека — оно было и сейчас. Что он думал, о чём — неизвестно. За четыре дня он не сказал почти ничего, и это молчание было уже не просто характером. Это было что-то другое. Что-то запертое.

Родин думал — может, оно само откроется. Когда человек готов, слова сами приходят. Такие замки насильно не вскрывают. Можно только дать время и не делать вид что ничего нет.

Он оставил эту мысль и перешёл к другой.

Думал о завтрашнем маршруте. Утром нужно было выйти раноутром. Не потому что темнота лучше — просто рассвет это момент когда патрули сменяются и внимание рассеяно. Это знание тоже было у него где-то на подкорочке.

Теперь их не четверо а больше. Одиннадцать. Это всё меняло. Одиннадцать человек идут медленнее чем четверо, шумят больше и прятаться будет гораздо труднее. Двое с плохими ногами — Дёмин и тот со сломанной. Двое в принципе медленные по состоянию. Остальные — боеспособны, настолько, насколько можно быть боеспособным после трёх недель в котле.

Он думал о маршруте. Северо-восток первые два километра, потом взять левее, обойти холм который карта обозначала как открытый с запада. Потом опушка — длинная и километра три идти по ней краем. Там немецкий разъезд был три дня назад, по следам на дороге. Три дня — значит могут быть снова. Значит, идти быстро и не задерживаться.

Потом ещё два километра лесом — густым, удобным, а там уже граница коридора. Там должна быть брешь. Там — выход.

Должен быть.

Это слово — «должен» — остановило его на секунду. Карта в голове говорила «есть». Но карта в голове не обновлялась в реальном времени. Она была статичной — слепок того что он когда-то знал. За четыре дня что угодно могло измениться. Немцы двигали позиции. Корректировали линию. Затягивали узлы в котле.

Он знал что коридор был. Он не знал наверняка что коридор есть сейчас.

Это была честная мысль и он её принял, не стал загонять вглубь. На войне нет гарантий. Есть только лучшие и худшие варианты, и ты выбираешь лучший из того что имеешь. Коридор — лучший вариант. Всё остальное хуже. Значит, идёшь туда.

Он перестал думать о маршруте — не потому что закончил, а потому что на сегодня было хватит. Остальное утром.

Он закрыл глаза.

Огонь в печи догорал тихо. Ветер перебирал ставни.

Одиннадцать человек дышали в темноте.

Утро пришло раньше чем казалось — или он проспал глубже чем думал. Такое бывает когда первый раз за несколько дней спишь в тепле. Тело берёт своё.

Родин открыл глаза и в первую секунду не понял где он. Потолок был деревянный — другой, не тот что в первой деревне, — и запах другой, много людей в одной комнате.

Потом память вернулась. Деревня. Второй дом. Одиннадцать человек.

Было ещё темно, но не полностью — за ставнями угадывалось предрассветное серое небо. Четыре часа утра, может пять.

Он поднялся.

Старцева уже не спала — сидела у погасшей свечи и смотрела в стол. Или думала. Трудно было сказать. Когда она услышала что Родин встаёт — повернулась и посмотрела на него.

Ничего не сказала. Он тоже.

Родин подошёл к окну и осторожно приоткрыл ставень — на два пальца. Двор был пустой. Трава в инее — первый настоящий иней, а не просто роса. Значит ночью было холодно, градуса три-четыре. Следов на дворе свежих не было — только их собственные, вчерашние.

Родин закрыл ставень и повернулся к комнате. Старцева смотрела на него.

— Выходим утром, — сказал он тихо. — Как рассветёт.

Она кивнула.

— Нога? — спросил он.

— Обработана. Ходить сможет, но не быстро.

— Быстро не нужно. Нужно ровно.

Она кивнула снова — не соглашаясь с ним, а подтверждая что поняла. Разница была небольшой, но была.

Родин сел обратно и стал ждать рассвета.

Пока ждал — думал о Старцевой.

Не о ней лично, а о том что она делает здесь. Семь человек, двое еле ходят, у одного сломана нога. Она могла уйти. Одна. Без них.

Не ушла.

Это требовало либо особого человека, либо особого понимания своего места. Или и то, и другое вместе.

Родин подумал что второе вероятнее. Особый человек это слишком красиво и слишком редко. Понимание своего места — это то что воспитывается и выбирается. Она выбрала остаться потому что она фельдшер и эти семь человек — её.

Комната начинала просыпаться. Медленно, как просыпается всё живое. Сначала кто-то перевернулся. Потом кашель. Потом тихое движение у стены.

Ковальчук встал без звука, как всегда, и подошёл к Родину. Встал рядом молча. Смотрел в окно хотя ставень был закрыт. Просто стоял рядом, и в этом «рядом» было что-то спокойное. Человек который понимает что сейчас нужно просто стоять рядом и ждать.

Дёмин проснулся тихо — так же как засыпал, плавно, без рывка. Сел, посмотрел на ногу. Просто взглянул, не трогая, а потом поднял взгляд и увидел Родину у стены.

— Уходим? — спросил он тихо, чтобы не разбудить остальных.

— Скоро, — ответил Родин. — Как нога?, — Нормально.

Пауза.

— Терпимо, — произнес Дёмин, Поправив самого себя. — Хуже чем вчера. Но ходить можно.

Это была честность без жалобы. Родин принял её именно так.

— Старцева сказала — держать сухой насколько возможно. Сегодня постараемся.

Дёмин кивнул.

Больше они об этом не говорили.

Выходили в шесть утра — ещё в темноте, но уже с тем серым предрассветным светом который даёт ориентиры не хуже фонаря если знаешь куда и на что смотреть.

Теперь их было одиннадцать.

Родин это почувствовал сразу — не количеством, а весом. Одиннадцать человек двигаются иначе чем четверо. Больше звуков, больше случайных движений, больше мест где цепочка может разорваться или замедлиться.

Это не плохо — это просто по-другому, и к этому нужно приспособиться.

Он шёл первым. За ним — Дёмин, потом Петров. Старцева шла в середине — по её собственному решению, она встала туда сама, поближе к тем кто двигался медленно. Сзади шел Ковальчук — замыкающим, как всегда.

Остальные семеро распределились между ними — по-своему, по какому-то негласному порядку, который сложился за ночь. С перевязанной рукой шёл рядом с артиллеристом. Со сломанной ногой шёл с самодельным костылём, сделанным ещё до них, крепким и с перекладиной из берёзовой ветки. Двигался медленно, но ровно, с той же экономией усилий которая была у Дёмина.

Люди которые долго терпят — начинают двигаться одинаково.

Лес принял их без церемоний.

Первые полчаса шли молча — и это было правильно, утреннее молчание, когда тело ещё не совсем проснулось и слова кажутся лишними. Туман стелился низко, деревья выступали из него медленно, один за другим, как будто лес строился прямо перед ними по мере движения.

Родин думал о маршруте.

Два километра на северо-восток — там открытый холм, его нужно обойти слева. Потом опушка — длинная, три километра, идти по ней в лесу, не выходя. Там был разъезд три дня назад — может быть снова, может нет. Потом ещё два километра лесом, и там — коридор.

Должен быть.

Он поймал себя на этом «должен» и снова отложил его в сторону. Сейчас это слово не помогало. Думать о том чего не знаешь — пустая трата времени, думать о том что перед тобой — полезная.

Перед ним был лес. Мокрый, тихий, октябрьский.

Он шёл, а за ним остальные.

Примерно через час Старцева догнала его — не нарушая строя, просто ускорила на несколько шагов и пошла рядом.

— Соболев к полудню начнёт замедляться, — произнесла она. — Его нога не выдержит такого темпа. Надо планировать остановку.

— Соболев это тот, что со сломанной ногой? - спросил Родин и его собеседница молча кивнула.

Он задумался.

— В полдень будем на опушке, — ответил Родин. — Там остановимся.

— Хорошо.

Она секунду помолчала, а затем спросила:

— Вы всегда так идёте? Первым?

— Да.

— Почему?

Он подумал. Не долго, потому что ответ был очень простым.

— Потому что знаю куда.

Она кивнула, а затем смерила оценивающим взглядом.

— Я ночью смотрела на вас, — произнесла она. — Вы спали очень мало.

— Думал о маршруте.

— Я понимаю, — Старцева сделала небольшую паузу. — Я тоже не сразу уснула. Думала о своих.

— О семерых?

— О семерых. — Она произнесла это просто, без пафоса. — Когда они стали моими, я не заметила. Просто в какой-то момент они ими стали. И все.

Родин посмотрел на неё боковым зрением. Она шла ровно, смотрела вперёд.

— У меня так же, — сказал он. — С моими тремя.

— Да, я видела.

Они шли рядом ещё немного молча. Потом Старцева чуть замедлила шаг и вернулась к своему месту в середине цепочки.

Родин думал о том что она сказала — «в какой-то момент они стали мои». Именно так. Без договора, без решения. Просто стали — и всё.

Он знал это чувство. Узнал его за четыре дня.

К опушке вышли в начале двенадцатого.

Она была именно такой как он помнил — длинная, ровная, берёзы с одной стороны и открытое поле с другой. Поле было серым, с полёгшей прошлогодней травой, без единого укрытия. По нему идти нельзя — это было очевидно с первого взгляда.

Остановились под берёзами, в тени.

Родин осмотрел опушку в обе стороны. Тихо. Никаких звуков кроме ветра и редкого капания с веток. Поле пустое.

Он дал жест — привал. Люди опустились кто как мог — на землю, на поваленный ствол или просто прислонились к деревьям.

Соболев - тот что был со сломанной ногой, опустился на ствол и вытянул ногу. Ничего не сказал, но лицо у него было такое, что и слова были не нужны. Старцева подошла к нему и что-то спросила вполголоса. Он ответил — коротко, одним словом. Она кивнула и достала что-то из сумки.

Петров сел рядом с Дёминым — снова, как прошлой ночью. Эта маленькая система уже стала устойчивой. Они молчали, плечо к плечу, глядя на поле.

Ковальчук встал у крайней берёзы и смотрел вдоль опушки — туда, где она изгибалась и терялась из виду. Его взгляд был не тревожным, а рабочим. Мужчина у которого работает внутренний дозор — постоянно и без выключателя.

Родин стоял и думал о трёх километрах опушки.

Идти нужно было вдоль неё — лесом, в тени деревьев. Это медленнее чем по полю, но не намного. Главное — не выходить на открытое пространство. Если разъезд — а он мог быть, то с поля их будет видно за полкилометра. Из леса — нет.

Он прикинул время. Три километра по лесу с одиннадцатью людьми, двое из которых замедляют темп — два часа, может два с половиной. До темноты должны выйти к коридору.

Должны.

Снова "должны".

Это слово ему не нравилось, но ничего поделать он с этим не мог.

Через пятнадцать минут двинулись дальше.

Шли в доль опушки, параллельно лесу, держа открытое пространство на виду но не выходя на него. Это работало: лес здесь был негустым, берёзы стояли редко, идти было нетрудно.

На втором километре Родин что-то услышал.

Не сразу. Сначала что-то неопределённое, что не вписывалось в звуки леса.

Он остановился.

Поднял руку. Это была команда "стоп". Цепочка остановилась за ним, один за другим.

Тишина.

Потом — мотор. Далеко, где-то вдоль поля, с юга. Шум характерный — тяжёлый, неровный, дизельный. Мотоциклетный или лёгкий автомобиль.

Родин жестом показал на лес. Им нужно было отойти от опушки.

Их небольшой отряд зашел в лес, метров на двадцать, а затем все встали за деревьями.

Тихо.

Мотор приближался медленно и без спешки. Патруль идёт не быстро. Их цель не скорость.

Родин стоял у берёзы и смотрел на опушку. Через просвет между стволами было видно поле — серое, пустое. Потом на краю поля, у дороги которую он не видел раньше — появился силуэт. Мотоцикл с коляской, два человека. Шли медленно, вдоль поля, не сворачивая в лес.

Родин не двигался. За спиной — одиннадцать человек, которые тоже не двигались.

Мотоцикл прошёл мимо.

Звук мотора нарастал — потом достиг максимума — потом начал удаляться. Медленно, ровно.

Они не остановились. Не свернули.

Через три минуты звук пропал совсем.

Родин облегченно выдохнул.

Он повернулся к своим.

Дёмин смотрел на него спокойно. Ковальчук уже убирал руку от кобуры. Его движение которое Родин не замечал раньше, говорило о многом. Во всяком случае о том, что пистолетом он пользоваться умел и наверняка уже стрелял из него. И стрелял не только по мишеням.

Петров стоял прямо, лицо без выражения, но что-то в нём изменилось — стало чуть твёрже. Старцева стояла рядом с Громовым, её рука лежала на его плече.

Никто ничего не говорил.

В полном молчании они стояли пару минут, а затем снова выдвинулись.

В полной тишине. Без слов. Они были не нужны.

Последние два километра дались тяжелее всего — не из-за местности, она была ровной. Из-за времени. Усталость накапливается к концу дня не потому что тело устало, а потому что голова перестаёт закрывать на это глаза.

Громов их отряд замедлился, как и говорила Старцева. Не сильно, но заметно. Солдат с перевязанной рукой, имени и фамилии которого Родин не знал, взял Соболева под руку с другой стороны от костыля — молча и без слов. Просто взял. Потому, что так было нужно.

Дёмин шёл. Жердь стучала о землю ровно. Раз, два, раз, два. Родин слышал этот ритм сзади и он был хорошим ритмом. Ровным.

Петров шёл рядом с Дёминым, чуть позади. В середине шла Старцева, а замыкал как и всегда Ковальчук.

Лес начинал меняться.

Это происходило постепенно. Деревья становились гуще, потом реже, потом снова гуще, и в этой смене была какая-то логика которую Родин чувствовал но не мог описать словами. Карта в голове говорила, что "близко". Коридор — здесь, где-то впереди, за этим гребнем, за этим густым ельником.

Он замедлился на подъёме.

Прислушался.

Тишина. Потом — очень далеко, едва слышно — что-то. Не стрельба. Что-то другое. Голоса. Русские голоса — он не слышал слов, только интонацию, но интонацию не перепутаешь.

Он остановился и какое-то время просто стоял, а затем пошёл вперёд — осторожно, медленно и один. Остальных жестом попросил ждать.

Поднялся на гребень. Лёг на живот, на хвою и прячась за сосной посмотрел вниз.

Небольшая поляна. На ней — люди в советской форме. Человек десять, может двенадцать. Двое стояли на краю с оружием — дежурили. Остальные сидели.

На краю поляны — самодельный указатель. Деревянная палка в земле, на ней белая тряпка.

Свои.

Родин лежал и смотрел.

Потом встал и спустился к своим.

— Там наши, — тихо произнес он.

Дёмин облегченно вздохнул. Ковальчук кротко кивнул. Петров не сказал ничего. Но посмотрел на Родин. И в этом взгляде было что-то такое чего не было раньше. Что-то открытое. Замок, который держал его слова четыре дня — не распахнулся, но сдвинулся.

Старцева произнесла тихо, почти про себя:

— Дошли, — произнесла она и впервые за все время, Родин почувствовал в ее голосе нотки радости. Слабые, уставшие, но они были.

Вместе они отправились вниз.

Родин шёл первым.

Солдаты увидели их сразу их увидела сразу. Они направили на них оружие, но поняв что к ним идут свои, опустили. Один из солдат пошёл им навстречу.

Лейтенант. Молодой и очень усталый.

— Откуда? — спросил он.

— Из котла, — ответил Родин. — Нас одиннадцать. Двое раненых — нужен медик. С нами Военфельдшер, она подлатала раненых, но им все—равно нужна помощь.

Лейтенант обвел отряд Родина изучающим взглядом, а затем тяжело вздохнул и кивнул себе за спину, тем самым молча давая им разрешение на то, что они могут пройти.

Люди на поляне смотрели на них не враждебно и не удивлённо. Смотрели так, как смотрят на людей, которые сами недавно вышли и смотрят на тех кто вышел сейчас.

Родин остановился в центре поляны и посмотрел по сторонам.

Дёмин стоял рядом с Петровым. Лица у обоих были усталыми, спокойными.

Ковальчук стоял чуть в стороне — как всегда поодаль от остальных. Но не так далеко как в первый день. За четверо суток расстояние сократилось. Незаметно и само по себе.

Петров смотрел на поляну — на людей, на указатель и на небо над ними. Потом посмотрел на Родин.

— Товарищ капитан, — произнес он.

Это были первые слова которые он произнёс сам — не в ответ на вопрос, а просто так. Своим голосом, тихим, немного хриплым. Замок не распахнулся — но ключ нашёлся.

— Что? — спросил Родин.

Петров помолчал секунду. Потом сказал:

— Спасибо.

Просто так. Без подробностей. Одно слово.

Родин посмотрел на него.

— Пожалуйста, - ответил ему Родин, смотря в глаза.

Петров кивнул и отвернулся. Что-то в нем стало другим. Плечи опустились и стали как будто свободнее, будто бы с них упала тяжелая ноша.

Среди солдат на поляне, оказался медик. Пожилой мужчина в очках. Старцева сразу же направилась к нему. Они сразу заговорили, профессионально и без предисловий. Она указала на Громова, потом на Дёмина. Мужчина кивнул и пошёл к ним.

Родин стоял и смотрел на это всё.

Поляна. Одиннадцать человек. Небо серое, октябрьское — такое же как пять дней назад, когда он лежал один в лесу и не знал кто он такой.

И он до сих пор не знал ничего о себе. Пустота никуда не делась. Малые Ключи, мать, жизнь до военного билета — это всё было по-прежнему пряталось за белым ровным экраном.

Но вот это было. Поляна, одиннадцать человек, и то что он их сюда привёл.

Ковальчук подошёл и встал рядом. Они стояли и смотрели на поляну.

— Под Минском, — сказал Родин. — Когда выходили. Как долго шли?

Ковальчук ответил не сразу.

— Девять дней, — произнес он. — Восемь — как ваши четыре. Девятый — как этот.

— Что на девятый?

— Вышли, — сказал Ковальчук. Пауза. — И всё.

Родин кивнул.

И всё.

Иногда этого достаточно.

Конец пятой главы.

Глава 6

На поляне их накормили.

Простенько и скудно. Не из жадности. Нет. Просто потому, что и у остальных еды было мало. Кто-то из группы которая стояла здесь с позавчера добыл что-то в деревне — картошка, хлеб, кусок солонины.

Котелок ходил по кругу. Родин взял свою часть и съел молча, и в этом молчании было что-то устойчивое — не то голодное, тревожное молчание которое было в лесу, а другое. Молчание людей которые добрались.

Пока ели — лейтенант, тот молодой который встретил их у поляны, объяснил обстановку.

Объяснял просто, без лишнего. Они стоят здесь второй день. Ещё одна группа — семь человек, с востока — вышла сюда накануне. А вслед за ними, появились и мы. Итого около тридцати человек на этой точке. Завтра с утра отряд должен двигаться дальше — к линии разграничения, к своим позициям. По данным которые принёс связной из другой группы, коридор держится. Узкий, но держится.

Родин слушал.

Лейтенанта звали Воронов. Молодой — лет двадцати трёх, не больше. Говорил чётко, по делу, без суеты. Командовал этой точкой — не потому что назначили, а потому что так получилось и он не отказался.

— Вы танкист? — спросил Воронов после.

— Да. Четвёртая бригада.

— Хорошо. — Воронов кивнул — коротко, с той особой интонацией когда «хорошо» означает не оценку, а просто принятие факта. — Завтра идём вместе. Если не возражаете — пойдёте в авангарде. Вы местность знаете лучше.

Родин не спросил откуда Воронов это знал. Старцева, скорее всего. Или просто угадал.

— Не возражаю, — сказал он.

Воронов кивнул и отошёл к своим.

Родин остался сидеть у края поляны. За его спиной — тихий говор тридцати человек. Впереди — лес, темнеющий, октябрьский.

Дёмина забрал медик — пожилой мужчина в очках, которого звали Соколов. Он забрал его в дом на краю деревни — там устроили что-то вроде перевязочного пункта. Родин не пошёл следом. Дёмин не нуждался в том чтобы за ним ходили. Он нуждался в том чтобы ему дали покой и сделали своё дело.

Старцева тоже пошла с ними. Она и Соколов говорили ещё на поляне — тихо, профессионально, сравнивая что у кого есть. У неё — одно, у него — другое. Вместе — почти достаточно. Родин слышал это вполуха и думал что два медика это хорошо. Лучше чем один.

Ковальчук сидел недалеко — на бревне у края поляны. Не разговаривал ни с кем, просто сидел. Несколько человек из другой группы подходили знакомиться — он отвечал коротко, без враждебности, просто без интереса. Его разговор происходил где-то внутри, не снаружи.

Петров сидел рядом с ним. Он тоже молчал. Но это было другое молчание — не то запертое, которое было последние пять дней. В нём появилось что-то другое. Как будто замок не открылся, но перестал давить изнутри.

Родин смотрел на них двоих и думал что Ковальчук и Петров похожи в одном — они оба все держат внутри.. Просто у каждого свой способ делать это. Ковальчук хранил внутри себя все спокойно и привычно. Он уже явно привык к "ноше", а Петров хранил внутри себя в напряжённо, так как держат что-то тяжёлое впервые, а потому и вес этот для него был пока тяжеловат.

Вечером, когда стемнело и большинство людей устроилось на ночлег кто где мог — в доме, в сенях, под навесом у поленницы, — Родин пошёл к перевязочному пункту.

Не за Дёминым. Просто посмотреть, что да как.

Дом был маленький — одна комната, печь, два окна. На лавке лежал Дёмин — с чистой повязкой на ноге, с тем особым видом когда боль после обработки острее чем до, но человек знает что это правильно и потому терпит по-другому. Осмысленно. Соколов сидел рядом, что-то писал при свече.

Старцева стояла у окна. Когда Родин вошёл — посмотрела на него и чуть кивнула.

— Нога? — спросил Родин у Соколова.

— Обработана, — сказал Соколов, не отрываясь от записей. — Воспаление есть. Не критично, но нужно тепло и покой. — Пауза. — Завтра идти сможет.

— Это точно?

— Точно что сможет. Легко не будет.

Дёмин лежал и слушал этот разговор с тем спокойным выражением которое Родин уже знал — человек слышит о себе что-то неприятное и принимает это как информацию, не как приговор.

— Дойду, — произнес он. Не Родину, просто в потолок.

— Знаю, — коротко ответил он.

Дёмин посмотрел на Родин. Что-то в этом взгляде было — не благодарность, не удивление. Что-то проще. Просто взгляд человека которому сказали правду и он это почувствовал.

Родин постоял ещё немного и вышел.

Старцева вышла следом.

Они стояли на крыльце. Ночь была тихая, без ветра. Звёзд по-прежнему не было — облака шли плотные, низкие.

— Соколов хороший врач, — произнесла она.

— Вижу.

— У него нет левого мизинца, — произнесла Старцева после короткой паузы. — Я спросила. Он говорит — на финской. Говорит, приходится работать по-другому. Говорит, что привык.

Родин не ответил. Слушал.

— Я думала что буду одна, — сказала Старцева. — Здесь. Что это моё — семь человек, и я одна. А потом вы пришли, — она сделала паузу. — Это странное ощущение. Когда перестаёшь быть один.

— Я знаю это ощущение, — сказал Родин.

— Да? — в ее голосе послышались нотки удивления. — Наверное, знаете.

Они постояли ещё немного молча. Из-за деревьев тянуло холодом. Не острым, а просто ровным — октябрьским. Где-то далеко — очень далеко, едва слышно — что-то гроыхнуло. Артиллерия. Одиночный выстрел или отзвук.

— Вы помните как стали фельдшером? — спросил Родин.

Она посмотрела на него.

— Помню, — сказала она. — Конечно помню. Это не то что забывается.

— Как?

Она подумала секунду. Не над ответом — над тем как рассказать.

— Я из Рязани, — сказала она. — Отец — врач. Районный, земский, как раньше говорили. Он всю жизнь ездил по деревням — на телеге, потом на машине. Я с ним ездила с детства. Сначала просто смотрела. Потом начала помогать. Потом уже не могла не помогать, — Старцева сделала паузу. — Поступила в медицинское. Не закончила. Началась война. Пошла добровольцем.

— Почему добровольцем?

— Потому что отец сказал так сказал, — военфельдшер сказала это просто, без пафоса. — Он сказал: ты умеешь больше чем думаешь. Иди и делай что умеешь.

Родин промолчал.

— А у вас? — спросила она. — Вы говорили, что ничего не помните. Но может, хоть что—нибудь?

Родин задумался.

— Руки, — наконец, ответил он. — Руки помнят. Как открывать люк. Как командовать в башне. Как слушать бой изнутри машины — там звуки другие, всё через броню.

Он посмотрел на свои руки в темноте. Было темно и он их не видел. Просто смотрел туда, где они должны были быть. — Это есть. Всё остальное — нет.

— Это не мало, — произнесла Старцева.

— Не мало, — согласился с ней Родин.

Несколько минут они стояли молча, а затем она ушла.

Родин остался на крыльце один.

Стоял и думал о том что она сказала — «это не мало». Три слова.

Спал он в сенях, вместе с ещё тремя людьми из другой группы. Незнакомые, молчаливые. Один хрипел во сне — негромко, ритмично. Другой ворочался долго, потом затих. Третий не шевелился — спал как убитый, что после трёхнедельного котла было неудивительно.

Родин лежал и думал о завтрашнем дне.

Тридцать человек. Авангард — это он и, скорее всего, Ковальчук. Коридор держится — по словам Воронова, по данным которые принесли. Коридор это не ворота — это просто место где немецкие позиции слабее, где можно пройти если идти правильно и если повезёт. Везение — не слово для командира. Но и отрицать его глупо.

Он думал о маршруте.

От этой точки до коридора, по карте в голове — километров семь, может восемь. С тридцатью людьми, двое из которых с ранениями в ногах — четыре-пять часов хода. Если выйти на рассвете — до полудня должны быть там.

Должны.

Он оставил это слово в покое и уже не так остро реагировал на него. Привык.

Думал о том что будет когда выйдут. Там — свои позиции, тыл, какой-то порядок. Там у него спросят кто такой, откуда, что случилось с экипажем. Там он скажет — капитан Родин, четвёртая бригада, Вяземский котёл. И что-то начнётся — проверки, допросы, медосмотр, всё как положено.

Это будет. К этому нужно быть готовым.

Но сначала — выйти.

А что потом?

Если честно, он этого не знал. Пустота никуда не делась. Может, когда—нибудь она и исчезнет, но точно не сейчас.

И не в ближайшее время. Родин это знал. Непонятно откуда у него было это знание, но оно было.

Родин тяжело вздохнул, а затем подумал о том, что нет смысла сейчас заморачиваться над этим вопрос. Сейчас его задача вывести людей через коридор, а что будет потом...

Потом будет следующая задача. И следующая.

Этот способ двигаться вперёд — один шаг, потом следующий, — он понял это за те пять дней с момента, как он очнулся.

В сенях было темно и холодно — печь в доме уже не грела и только отдавала остатки тепла сквозь дверь. Родин полежал секунду, слушая дыхание трёх незнакомых людей рядом. Ровное, глубокое, спокойное.

Встал.

Вышел на улицу. Воздух был холодный и острый. Почти зимний. Трава под ногами хрустела. Небо светлело — едва-едва, на самом краю востока, там где серость была чуть теплее.

Поляна была тихой. Кое-где — тёмные силуэты людей, которые тоже не спали. Двое охранявших периметр. Кто-то сидел у потухшего кострища — просто сидел, обхватив колени.

Ковальчук стоял у дерева на краю поляны. Спиной к деревьям, лицом к деревне.

Родин подошёл. Встал рядом.

Молчали. Несколько минут — просто стояли рядом и смотрели как рассветает. Небо светлело медленно. Октябрь отдавал ночь неохотно.

— Тридцать человек, — сказал Ковальчук. Не вопрос — просто констатация.

— Тридцать, — подтвердил Родин.

— Это другое.

— Да.

Ковальчук промолчал.

— Под Минском нас было двенадцать когда выходили, — сказал он. — К девятому дню — восемь, — он сделал паузу. — Четверо отстали. Двое — сами. Двое — нет.

Родин не спросил как. Это был тот разговор который нужно слушать, а не вести.

— Командиром у нас был лейтенант, — продолжал Ковальчук. — Молодой, как ваш Воронов, — небольшая пауза. — Хороший был командир. Шёл первым. Думал за всех, — снова пауза. — На восьмой день его убили. Случайно. Патруль. Мы его не услышали. Он шёл впереди.

Родин слушал.

— Остальные дошли, — сказал Ковальчук. — Восемь человек. Я вёл последние полтора дня, — Он помолчал. — Я не командир. Я механик-водитель. Но больше некому было.

— Дошли, — сказал Родин.

— Дошли, — повторил Ковальчук. Это слово он произнёс с той особой интонацией которую Родин уже слышал — когда «дошли» означает и радость и потерю одновременно, и ни то ни другое не перевешивает.

Помолчали.

— Я пойду в авангарде с вами, — сказал Ковальчук. — Если не против.

— Не против, — ответил Родин.

Ковальчук кивнул. Замолчал. Больше не говорил ни о Минске, ни о лейтенанте, ни о восьми людях. Просто стоял рядом и смотрел как рассветает.

Родин думал о том что Ковальчук сказал ему это не случайно. Не ради разговора, не от одиночества. Он сказал это потому что посчитал нужным — чтобы Родин знал. Чтобы командир знал кто стоит рядом и что он умеет.

Это был его способ представиться по-настоящему. Не имя, не звание — история.

Родин понял это. И принял.

В шесть утра, ещё в темноте, поляна ожила.

Люди поднимались — без команды, просто потому что было время. Этот внутренний счётчик который работает у людей прошедших через котёл. Тело само знает когда нужно вставать и идти.

Родин стоял в центре поляны и наблюдал.

Дёмин вышел из дома — сам, без помощи, с жердью. Шёл осторожно — чуть медленнее чем вчера. Нога после обработки Соколова, после ночи в тепле — держала. Лучше чем должна была, если честно. Это было в нём — это упрямство тела которое отказывается сдаваться раньше времени.

Петров вышел следом за Дёминым. Встал рядом с ним — как вчера вечером на поляне. Они оба смотрели в лес — туда, куда им предстояло идти.

Громов — тот со сломанной ногой — вышел с костылём и остановился у дерева. Он смотрел прямо. Выражение у него было такое, каким бывает у человека который принял решение — не внутри себя принял, а уже полностью, когда обратного пути уже не было.

Старцева вышла последней. Сумка медицинская на плече. Халат убран, гимнастёрка, ремень, всё застёгнуто. Она посмотрела на Родин и он молча кивнул.

Подошёл Воронов

— Готовы? — спросил он.

— Готовы, — ответил Родин.

— Ваши в авангарде?

— Мы с Ковальчуком. — Родин кивнул в сторону Ковальчука. — Он знает что делать.

Воронов встретился взглядом с Ковальчуком и тот молча ему кивнул.

Воронов кивнул кивнул в ответ.

— Тогда выходим, — произнес он и они пошли.

Тридцать человек вытянулись в цепочку — длинную и медленную. Родин шёл впереди. За ним — Ковальчук. За ними — остальные.

Лес их принял.

Родин шёл и слышал за спиной тридцать пар шагов — разных, неодинаковых. Тяжёлые и лёгкие, ровные и прихрамывающие, быстрые и медленные. Тридцать людей — тридцать разных способов идти.

Он думал о маршруте. Семь километров. Коридор.

Думал о Ковальчуке который шёл рядом — и о лейтенанте который шёл первым под Минском и которого больше нет. Думал о том что это могло бы быть ему напоминанием — идущему первому. Но не было. Или было, но не как страх — как знание. Просто знание того что идти первым это значит принять это всё.

Он принял.

Лес был тихий. Утренний, холодный, с инеем на хвое.

Они шли.

Конец шестой главы.

Глава 7

Коридор оказался не таким, каким он его представлял.

Родин думал, что будет что-то вроде прохода. Просвет в немецких позициях, пустое пространство шириной достаточной чтобы тридцать человек прошли, не задев ничего. Карта в голове рисовала именно это — брешь, дыру в кольце.

На деле брешь выглядела как лес. Просто лес, ничем не отличавшийся от предыдущих восьми километров. Те же берёзы, те же ели, та же мёрзлая земля под ногами с хрустящей коркой инея. Никаких указателей кроме самодельного — белая тряпка на палке, которую они оставили позади на поляне с советскими солдатами.

Разница была в другом.

Звуки.

На третьем километре от поляны Родин начал слышать то, что слышал только краем сознания всё последние дни — артиллерию с востока. Она была не слитным гулом, как в первый день когда он лежал в лесу один. Теперь отдельные выстрелы угадывались в общем гуле, и направление было чётким. Там, за лесом, за этим ельником и за открытым полем которое карта в голове обозначала как последнее препятствие — там шла настоящая работа. Наши держали рубеж. Стреляли в ответ, значит, живые. Значит, линия держится.

Он шёл и слушал эту артиллерию как музыку. Это было странное чувство — слушать стрельбу с облегчением, как слушают что-то давно знакомое.

Ковальчук шёл рядом — чуть сзади и правее, как все время это и делал. За пять дней расстояние между ними сократилось до привычного в полтора шага. Он умел держать дистанцию так чтобы быть рядом и не мешать. Это тоже было в нём — эта точность в мелочах, которая отличала хорошего механика-водителя. Водитель в танке знает как близко можно подойти к препятствию. Эта привычка оставалась и в лесу.

Тридцать человек шли цепочкой позади.

Родин не оборачивался. Незачем — он слышал их. По звукам шагов знал что цепочка держится. Жердь Дёмина — ровный стук, раз, два, раз, два, как метроном. Костыль Соболева — другой ритм, более тяжёлый и с паузой. Между ними — шаги остальных, разные и неодинаковые, но все движущиеся вперёд.

Тридцать человек.

Это число всё ещё не умещалось в нём так же естественно как три или четыре. Четверо — это было своё, привычное, понятное. Одиннадцать было уже другим, но понятным. Тридцать — это была армия. Маленькая, измотанная, без техники и почти без оружия армия, которая двигалась через октябрьский лес к своим позициям. Он шёл первым у этой армии и это требовало от него чего-то, что он ещё не успел полностью определить.

Карта в голове говорила — два километра до открытого поля, затем открытое пространство, потом лес и там уже граница. Там должны быть свои позиции. В этом лесу, который карта обозначала как безопасный.

Должны быть.

Это слово он давно перестал отрицать и все больше и больше начинал привыкать к нему.

На открытое поле вышли в начале второго.

Оно лежало перед ними широкое, серое, с примятой прошлогодней травой и редкими тёмными пятнами. Это были либо кусты, то ли что-то другое, разобрать было сложно.

Небо над полем стало ниже, чем над лесом, или так просто казалось, потому что деревья больше не держали его края. Горизонт появился плоский, туманный и октябрьский.

Родин остановился у края леса.

Стоял и смотрел на поле. Две сотни метров, может чуть больше. За полем — лес снова, тёмный, густой. Он знал что там. Но поле было открытым, и это было плохо.

Ковальчук подошёл и встал рядом, и посмотрел туда же.

Несколько секунд они стояли молча.

— Пробежать? — тихо спросил Ковальчук.

Родин посмотрел на цепочку позади — на Дёмина с жердью, на Соболева с костылём. Пробежать. Дёмин побегит. Соболев — нет. И ещё двое из семёрки Старцевой, которые шли тяжело.

— Нет, — сказал Родин. — Пройдём.

Ковальчук кивнул. Это кивок означал — понял, принял, выполняю.

Родин оглянулся на цепочку и жестом показал — рассредоточиться. Не идти колонной, а развернуться в широкий строй, метров пятнадцать между людьми. Патруль или наблюдатель на другой стороне поля — если есть — меньше среагирует на одиночные фигуры чем на вереницу.

Это было из того потока знаний и карты. Знания которые были — ничего более.

Цепочка начала перестраиваться — медленно и неловко. Люди не привыкли к такому, но все равно делали, ибо так было нужно.

Воронов что-то говорил негромко сзади — помогал.

Родин ждал пока все выровняются по фронту, а потом шагнул на поле.

Трава под ногами хрустела — сухая, примятая и мёрзлая. Она была твёрдой, почти каменной — первые настоящие морозы прихватили её за ночь. Ноги шли хорошо, без той тягучей сырости которая была в лесу. Он шёл ровно, не ускоряясь и не озираясь — с той особой равномерностью которая не привлекает внимания. Это тоже было знание тела. Откуда — не важно.

Поле молчало.

Где-то справа, далеко, артиллерия ударила три раза подряд — тяжёлые, низкие удары, с промежутком в несколько секунд. Потом тишина. Потом ещё один одиночный. Это было нормально. Это была война.

Он думал о том что сейчас там — за этим полем, за этим лесом. Там была линия. Живая, держащаяся, с людьми в окопах и артиллерией на позициях и командирами которые знали что делают. Там был порядок. Не идеальный, не спокойный — война не бывает спокойной, — но порядок. После шести дней котла это слово звучало почти как обещание чего-то настоящего.

Он пересёк поле за четыре минуты.

Остановился у кромки леса и обернулся.

Тридцать человек шли через поле — широкой цепью, по двое-трое в ряд. Дёмин шёл в середине — жердь, ровный шаг, голова поднята. Соболев шёл с левого фланга — медленно, но шёл. Рядом с ним кто-то из группы Воронова держался — не поддерживая, просто рядом, чуть медленнее чем мог бы идти сам. Казалось бы — ничего такого, но на самом деле, все по-другому, ведь иногда моральная поддержка, важнее физической.

Старцева шла в правой части цепи, ближе к Дёмину.

Петров шёл один — немного отдельно от остальных, как всегда, но уже не с тем закрытым напряжённым видом который был в первые дни. Просто шёл. Ровно, молча и вперёд.

Ковальчук замыкал — как всегда. Последним.

Всё было правильно.

Родин стоял и смотрел на них и думал о том что это поле они пройдут. Что они уже почти прошли. Что тридцать человек которые вышли из котла — это тридцать человек которые живы. Это было важно. Это было важно именно так — не как победа, не как достижение. Просто как факт, как что-то настоящее и весомое.

Живые.

Последним человек шагнувшим с поля в лес был Ковальчук. В этот раз, он замыкал а не шел в авангарде вместе с Родиным. Так решил он сам. Никто ему не приказывал. Просто, он знал что ему нужно было делать и делал это.

Поле осталось позади.

Лес за ним был другим.

Это Родин почувствовал сразу — не умом, а как-то физически, как чувствуют изменение давления или запаха воздуха перед грозой. Деревья были теми же — ели, берёзы, та же мёрзлая земля, те же пятна инея на хвое. Но что-то в самом воздухе было иным. Менее настороженным. Как будто лес перестал держать спину прямо и немного расслабился.

Потом он понял.

Запах.

Слабый, почти неуловимый — дым, но не тот сырой, горький дым деревенских пожарищ и горящей техники. Другой. Прелый, нежный, почти уютный — дым человеческого жилья, дым костра который горит долго и спокойно. Запах лагеря. Запах людей которые находятся на месте, а не бегут.

Родин замедлился.

Поднял руку — сигнал остановиться. Цепочка встала.

Он стоял и слушал.

Голоса. Не отдельные слова — просто гул живой речи, который не перепутаешь ни с чем. Русская речь — он узнавал её не по словам а по ритму, по интонации, по тому особому звуку который есть в русской живой речи и которого нет в немецкой. Немецкая — короткая, отрывистая, с твёрдыми согласными. Русская — длинная, плавная, с паузами.

Свои.

Он пошёл вперёд — один, медленно, руки на виду.

Деревья расступились в небольшую просеку, а просека вывела на поляну. Большую, в полтора раза больше той где они ночевали. На краю поляны — несколько землянок, свежих, с торчащими наружу трубами. У землянок — люди в советской форме. Несколько человек у костра. Двое у деревьев с оружием.

Один из двух охранявших увидел его первым.

— Стой! — негромко, твёрдо.

— Свои, — ответил Родин спокойно. — Капитан Родин. Четвёртая танковая. Из котла. Нас тридцать человек.

Охранник смотрел на него секунду, потом оглянулся на поляну — там кто-то уже поднимался и шёл к ним.

Командир был немолодым — лет пятидесяти, в шинели с майорскими петлицами, с тёмными кругами под глазами которые говорили о том что последний нормальный сон был давно. Он подошёл и остановился в трёх шагах. Смотрел на Родин с той смесью усталости и внимательности которую Родин уже умел читать — человек который много видел за последние недели и привык к тому что из леса выходят разные люди.

— Майор Баранов, — представился он коротко. — Сорок первая стрелковая, — он сделал паузу. — Сколько человек вы говорите?

— Тридцать. Из разных частей. Двое раненых — нога и перелом, передвигаются сами, медицинская помощь нужна. С нами военфельдшер и врач.

Баранов кивнул — коротко и деловито.

— Ведите.

Когда все тридцать вышли на поляну — Родин впервые за несколько часов остановился и позволил себе просто стоять.

Не думать о маршруте. Не считать людей. Не слушать лес.

Просто стоять.

Поляна была живой — кашеварили у костра, кто-то перевязывал руку соседу, двое спорили о чём-то тихо и деловито. Обычная, человеческая, живая поляна. Тридцать его людей смешивались с теми кто был здесь — осторожно, медленно, как смешиваются две воды разной температуры.

Дёмин опустил на бревно у костра. Жердь воткнул рядом в землю. Кто-то из Барановских протянул ему кружку — дымящуюся, горячую. Дёмин взял обеими руками и просто держал, согреваясь. Не пил сразу — просто держал.

Петров стоял немного в стороне и смотрел на поляну — на людей, на костёр, на небо. Потом его лицо изменилось. Нет, он не улыбнулся, как улыбаются, когда испытывают радость или какие-то другие приятные чувства, но что-то явно произошло. Как будто что-то внутри медленно отпустило.

Ковальчук подошёл к Родину и встал рядом.

— Дошли, — произнёс Родин. Не к Ковальчуку, а просто так. Просто потому что нужно было сказать это вслух хотя бы раз.

Ковальчук не ответил сразу. Потом негромко:

— Дошли.

Это слово между ними теперь имело вес. Не такой вес как при первом разговоре — тогда в нём была и радость и потеря, и ни то ни другое не перевешивало. Сейчас вес был другой. Чище. Яснее.

Старцева разговаривала с Барановым — она подошла к нему первой и говорила быстро, деловито, перечисляя раненых. Баранов слушал, кивал, что-то говорил своим. Из землянки вышел человек в белом халате — значит здесь был свой медик. Хорошо. Старцева повернулась к нему, и уже через минуту они шли вдвоём к Соболеву.

Родин наблюдал за ней.

Надежда Старцева. За неполные двое суток с момента как они встретились у двери деревенского дома — она стала частью этой истории. Не случайной частью. Человек который остаётся когда другие уходят — это особый человек, как бы он сам себе ни объяснял это через долг или место.

Он подумал о её отце. Районный врач, земский, который ездил по деревням. Который сказал — ты умеешь больше чем думаешь. Иди и делай что умеешь.

Хороший отец знает своего ребёнка лучше чем тот знает себя сам. Это было откуда-то из того потока знаний — не факт, не цифра, просто понимание. Простое и тихое.

Баранов подошёл к Родину.

— Через час отправляем группу к основной линии, — произнёс он деловито, без вступлений. — Восемь километров. Дорога есть, не лес. Машина придёт за ранеными. Остальные пешком.

— Раненые дойдут, — сказал Родин.

Баранов посмотрел на него внимательно.

— Дойдут, — согласился он, и в этом согласии не было снисхождения. Просто человек который оценил и согласился с оценкой.

— Есть данные об экипаже четвёртой бригады? — спросил Родин. — Три человека. Механик-водитель Кузов. Двое других — имён не знаю.

Баранов покачал головой.

— Нет. Но это ничего не значит. Они приходят каждый день, маленькими группами. Может, уже вышли через другую точку.

Родин принял это как возможность, не как утешение. Это было честнее.

Час прошёл быстро.

Людей кормили — скудно, но горячим. У Барановских была крупа и немного мяса, и это было больше чем ничего. Котелок снова ходил по кругу, и снова это молчаливое движение — взял, поел, передал — было своим, понятным, человеческим.

Родин ел и думал.

Думал о том что сейчас произойдёт. Восемь километров по дороге до основной линии. Там — тыл, штаб, проверки. Там придётся отвечать на вопросы. Кто такой, откуда, что случилось с машиной. Капитан Родин Алексей Тимофеевич, четвёртая танковая бригада, Вяземский котёл.

Это он скажет.

А дальше — военный билет, петлицы, разбитый Т-34 в лесу — это всё можно объяснить. Потеря экипажа при поражении машины, выход из окружения, контузия. Контузия объясняет многое. Отсутствие памяти после контузии — это не выдумка, это бывает. Он знал это из того потока. Бывает что человек после удара по голове теряет то что было до удара и сохраняет то что умеет тело. Это медицинский факт.

Это было его объяснение. Контузия.

Он думал — достаточно ли это объяснение. Потом подумал что других у него нет и беспокоиться об этом раньше времени — трата сил.

Дёмин доел первым — он всегда ел аккуратно, медленно, не торопясь — и сидел с пустой кружкой, глядя в огонь. Нога у него, видно, болела сейчас сильнее чем в движении — это всегда так, когда останавливаешься. Тело в покое начинает чувствовать то от чего отвлекалось в движении.

Родин поймал себя на том что смотрит на него с тем же чувством которое появилось в первый день — когда нашёл его под берёзой. Что-то вроде ответственности. Не тяжёлой, не обременительной — просто чёткой. Дёмин шёл с ним шесть дней. Шёл с осколком в ноге, через бурелом и болота и мокрый лес, и дошёл.

Это что-то, да значило. Родин не стал формулировать что именно.

Петров сидел рядом с Дёминым — как обычно, плечо к плечу. Он тоже смотрел в огонь. Замок в нём немного открылся — с тех пор как сказал «спасибо» на первой поляне. Одно слово, и что-то сдвинулось. Он по-прежнему был молчаливым — это было его природой, а не только войной. Но молчание стало другим. Менее плотным.

Ковальчук допил свою кружку, поставил аккуратно на землю рядом с собой и сидел с прямой спиной, глядя туда где деревья поглощали край поляны. Он думал о чём-то. О ком-то. Родин не знал о ком — о лейтенанте под Минском, о тех четверых кто не дошёл, или о ком-то ещё, кого Родин не знал. У Ковальчука была жизнь которую Родин не знал. Жена, может дети, дом или что-то еще.

Об этом они не говорили. Не нужно было.

Через час Баранов дал сигнал к движению.

Дорога была настоящей — грунтовой, разбитой тяжёлой техникой, но дорогой. Не лесная тропа, не бурелом, не болотный край. Два следа колеи, широкие, с вмятинами и выбоинами, обочина с пожухлой осенней травой.

Идти было легче, чем в лесу. Тело сразу почувствовало разницу — ровная поверхность, не нужно выбирать куда поставить ногу, не нужно огибать деревья. Просто идти.

Тридцать человек растянулись по дороге — в колонну по двое. Впереди шли двое Барановских с оружием. За ними — Родин. За ним — остальные.

Ковальчук был рядом.

Они шли и молчали. Молчание было другим — не напряжённым молчанием леса когда слушаешь каждый звук, а просто молчанием усталых людей которые идут и думают о своём.

Родин думал о том что этот день — последний день этой части. Шесть дней от разбитого танка в лесу до этой дороги. Шесть дней с белой пустотой там где должна быть память. Шесть

дней с этой картой в голове, с тремя людьми которые стали четырьмя, потом одиннадцатью, потом тридцатью.

Он думал о том что будет дальше.

Штаб. Проверки. Потом — что? Новое назначение? Новый танк? Четвёртая бригада ещё существует как соединение, или котёл её тоже поглотил? Это он не знал. Карта в голове была статичной и на вопросы о будущем не отвечала.

Будущее было настоящим пробелом — в отличие от пустоты прошлого, которая была тихой и ровной, будущее было просто неизвестным. Разница маленькая, но была. Пустота не пугает. Неизвестность — это другое.

Он поймал эту мысль и отложил в сторону.

Одно дело делается за раз. Сначала дойти. Потом штаб. Потом что скажут.

Дорога шла через редкий сосняк — сосны стояли высокие, прямые, с тёмными стволами и рыжей хвоей на ветвях. Под ними лежал ковёр из опавшей хвои — мягкий, рыжий, уже с тонким белым налётом инея поверху. Красиво, если позволить себе это слово. Родин подумал что позволит.

Иней на рыжей хвое в пасмурный октябрьский день — это красиво. Просто красиво, без всяких усложнений. Война не отменяет красоту. Это он понял за шесть дней — или вспомнил, или понял заново, без старой памяти. Неважно. Главное что понял.

Дёмин шёл ровно. Жердь стучала о грунт дороги иначе чем в лесу — звонче, суше. Раз, два. Раз, два. Он смотрел вперёд, на дорогу. Лицо у него сейчас было таким — спокойным, немного отсутствующим. Он думал о чём-то своём. Может, о матери в огороде. Может, о Крыме который хотел увидеть. Может, просто об этой дороге и о том что она ведёт куда-то живому.

Родин надеялся что о Крыме.

Море, которое тёплое и солёное и пахнет не как у нас. Дёмин должен его увидеть. Это казалось важным — не сентиментально, а просто важным. Один конкретный человек должен доехать до моря.

Может, это и есть то за что стоит воевать. Не за большое и абстрактное — за маленькое и конкретное. За то чтобы один парень из деревни под Воронежем, который пошёл в военкомат пешком двадцать километров и три недели провёл в котле с осколком в ноге — доехал до Крыма. Увидел море.

Это была маленькая мысль. Но она была настоящей.

Через три километра дорога вышла из сосняка и пошла через поле — широкое, пустое, с далёким горизонтом. Небо над полем открылось полностью — серое, низкое, октябрьское. То самое небо без злости и без красоты, просто никакое. Оно всё такое же. Оно не изменилось за шесть дней.

Это было странно — смотреть на это небо и понимать что оно то же самое что было в первый день. Когда лежал один в лесу и не знал кто такой.

А он изменился.

Не в том смысле что вспомнил. Нет. Пустота никуда не делась. Малые Ключи, мать, жизнь до военного билета — всё по-прежнему было белым ровным экраном. Но что-то другое изменилось. Что-то что трудно назвать точным словом. Может — наполненность. Не памятью. Людьми. Дёминым, Ковальчуком, Петровым, Старцевой. Историями которые они рассказали и которые он слышал. Матерью в огороде. Лейтенантом под Минском которого больше нет. Отцом из Рязани который сказал — иди и делай что умеешь.

Это не его истории. Но они теперь в нём. И это не пустота.

Он думал об этом и шёл по дороге через поле, и серое небо висело над ним как всегда.

Впереди показалось — сначала как тёмная линия на горизонте, потом как силуэты, потом как отдельные деревья и строения. Деревня. Большая, живая — дымили трубы, видно было движение. И что-то ещё — Родин присмотрелся.

Техника. Тёмные силуэты у края деревни. Грузовики. И ещё что-то, низкое, широкое.

Он присмотрелся ещё.

Танки.

Сердце сделало что-то странное. Не дрогнуло — просто отозвалось. Как отзывается нога на знакомую дорогу. Тело помнило. Руки помнили. И вот теперь — когда увидел силуэты на расстоянии — что-то в груди тихо и ровно отозвалось.

Т-34. Это был он. Родин просто знал это.

Он шёл и смотрел на них и думал что там, у этих машин, есть экипажи. Люди которые знают что он знает. Командиры которые слышат бой через броню. Механики которые чувствуют машину через рычаги. Заряжающие которые работают в тесноте боевого отделения с такой скоростью что руки опережают мысль.

Это его мир. Не лес, не дорога, не поле — хотя и они тоже. Но это было чем-то особенным.

Ковальчук шёл рядом — чуть сзади и правее, как всегда. Родин почувствовал его присутствие раньше чем увидел — по тому как изменился воздух рядом, по тихому хрусту шагов. За шесть дней он научился чувствовать каждого из своих по звуку. Дёмин — жердь и лёгкий шаг. Петров — тихо, почти бесшумно. Ковальчук — ровно, основательно, как идёт человек который давно не тратит сил лишних.

Они стояли рядом и смотрели на силуэты танков у деревни.

Т-34. Три машины — две у края дороги, одна чуть в стороне, под деревьями. Башни развёрнуты — у первых двух вперёд, у третьей вбок. Третья, может, стояла давно — или механик просто не повернул. Это не важно. Важно что стоят. Живые, не горелые.

— Ваши? — спросил Ковальчук. Просто так. Не ожидая ответа.

— Мои, — сказал Родин.

Это слово вышло само и он его не остановил.

Они стояли ещё минуту. Потом Ковальчук кивнул — не ему, просто кивнул — и пошёл вперёд, к деревне. Родин пошёл рядом.

Деревня принимала их деловито.

Не торжественно, не с объятиями — просто деловито. Люди в советской форме, много людей, техника у домов, дым из труб. Кто-то кричал команду, кто-то нёс ящики, двое спорили о чём-то у грузовика. Живое, настоящее, своё.

Родина остановил дозорный у въезда — молодой, серьёзный, с винтовкой. Документы. Родин показал военный билет. Дозорный посмотрел, кивнул, пропустил.

Тридцать человек входили в деревню по одному, по двое — кто как шёл. Дозорный смотрел на каждого с той же серьёзностью. Делал своё дело.

Их направили в крайний дом — большой, пятистенный, с самодельной табличкой на двери. Штаб. Воронов пошёл туда сразу — доложить. Родин пошёл следом. Остальные остались ждать во дворе.

Штаб был как штаб. Карта на столе — настоящая, с отметками. Двое с телефонными трубками. Майор за столом — немолодой, с усталым лицом и цепким взглядом. Он поднял голову когда вошли.

Воронов доложил коротко: группа из котла, тридцать человек, вышли через северный коридор, потерь нет, двое раненых.

Майор выслушал, посмотрел на Родину.

— Капитан?

— Родин. Четвёртая танковая бригада.

— Из котла?

— Да. Шесть дней.

Майор кивнул. Что-то написал. Спросил — машина, экипаж, последняя позиция. Родин отвечал коротко и точно. Майор записывал. Это была нормальная процедура — фильтрация, проверка. Родин знал это и не тяготился.

Когда с основным было покончено, майор отложил карандаш и посмотрел на него иначе — не как на объект учёта, а как на человека.

— Контузия? — спросил он, глядя на тонкий шрам у правого виска.

— Да. Память частично не восстановилась.

— К медикам зайдёшь.

— Зайду.

Майор кивнул. Разговор был окончен.

Двор был уже оживлённым когда Родин вышел.

Раненых забрали санитары — Соболева и кого-то из Вороновской семёрки. Дёмин стоял в стороне и наблюдал за этим с тем спокойным видом которым смотрят когда всё в порядке и можно просто стоять и смотреть.

Петров сидел на бревне у стены — колени вместе, руки на коленях. Смотрел на улицу. Деревню. Технику. Людей. Смотрел так, как смотришь когда давно не видел всего этого сразу — живого, шумного и настоящего. В его лице что-то было другим. Не радость и не облегчение — что-то тише и глубже. Что-то что появляется когда долго сжимал и наконец можно разжать.

Ковальчук стоял у ворот и курил — Родин увидел у него в руке папиросу, откуда-то взявшуюся. Пустил кольцо дыма в холодный воздух. Посмотрел на Родину.

— Как? — спросил он.

— Нормально. Записали, отпустили.

— К танкам сходишь?

Родин помолчал секунду.

— Схожу.

Ковальчук кивнул и снова затянулся.

Родин пошёл к краю деревни — туда где стояли три машины. Шёл медленно, не торопясь. Ноги несли сами.

Он остановился у первого танка. Т-34, ранний, с поручневой антенной. На броне — несколько вмятин от осколков, не пробоин. Ходовая целая. Люки задраены. Машина стояла тихо, холодная, ждущая.

Родин положил ладонь на броню.

Металл был холодным — октябрьским, промёрзшим, почти влажным. Но под рукой что-то отозвалось — не воспоминание, не картинка. Просто знакомость. Тело знало этот металл. Знало его температуру, его фактуру, звук который он издаёт когда стучишь. Знало как пахнет внутри боевого отделения — дизель, масло, сгоревший пороховой газ.

Он стоял и держал руку на броне.

Думал о своём разбитом Т-34 в лесу. Он там остался — с разорванной гусеницей, с пробоиной в борту, с дымом из боевого отделения который уже давно стих. Где-то там лежит шлемофон с запиской от Кузова. Может, Кузов уже вышел. Может, нашёл другую дорогу. Может, где-то здесь, в этой деревне или в соседней — сидит и пьёт чай из казённой кружки.

Может.

Он убрал руку с брони и сделал шаг назад. Посмотрел на машину целиком. На следующую. На третью под деревьями.

Это была его работа. Не лес, не дорога — хотя и они тоже. Но вот это — здесь, в этой стали, в этой броне которая помнит то чего не помнит голова. Это его место.

Он это знал. Не из военного билета и не из документов.

Просто знал.

Старцева нашла его у танков.

Она подошла со стороны, остановилась рядом. Смотрела на машину секунду, потом на него.

— Медик ждёт, — сказала она.

— Иду.

Она не уходила.

— Соколов уже работает с Соболевым, — произнесла она. — Говорит — нога срастётся нормально. Просто долго.

— Хорошо.

— Дёмин тоже у него. Нога через неделю будет лучше. — Пауза. — Если не ходить.

— Не будет ходить.

— Не будет, — согласилась она.

Они молчали немного. Ветер прошёл по деревне, тронул ветки, улёгся.

— Вы остаётесь здесь? — спросил Родин.

Старцева подумала.

— Не знаю ещё. Соколов сказал что здесь нужны руки. Пока сказал здесь — значит здесь.

Родин кивнул. Это звучало как она — без лишних слов, просто по существу.

— А вы?

— Решится, — ответил он. — Там видно будет.

Она посмотрела на него с тем прямым взглядом которым смотрела всегда — оценивающим, но без давления.

— То что вы говорили тогда, — произнесла Старцева — Про руки, что помнят, — она сделала паузу. — Вы это вы, и этого у вас не отнять.

Родин посмотрел на неё, потом на броню перед собой, а затем снова на военфельдшера.

— Может быть, — ответил он и тяжело вздохнул.

— Не может быть, — произнесла Старцева. — Я видела. Шесть дней видела как вы идёте. Это не случайный человек без памяти. Это человек который знает что делает.

Родин ничего не ответил. Потому что ответить ей было нечего. Или потому что ответ был уже и так понятен.

Старцева кивнула. Повернулась и пошла к дому.

Он смотрел ей вслед.

Надежда Старцева. Военфельдшер из Рязани, дочь земского врача, которая не ушла когда могла уйти. Которая писала в тетрадку при свече потому что верила что это будет прочитано. Которая сказала — это не мало, и это не мало, и остальное — приложится.

Может, она права. Может, нет.

На войне в октябре сорок первого — нет способа знать это заранее.

К медику он зашёл после.

Тот осмотрел голову, расспросил о памяти — когда, как, что помнит, что нет. Записал. Сказал — контузия, это бывает. Память может вернуться частично или не вернуться совсем. Есть люди которые живут так годами. Работают, воюют, помнят как делать своё дело — и не помнят лица близких.

— Жить можно? — спросил Родин.

— Жить можно, — ответил медик без иронии. — Воевать тоже. Если голова не болит.

— Не болит.

— Тогда пока без ограничений.

Родин вышел.

Дёмин сидел в сениях, дожидался его — без жерди, просто сидел, вытянув ногу. Поднял взгляд когда вошёл.

— Ну как вы? — спросил он.

— Нормально. Говорят — жить можно.

— Это хорошо, — произнёс Дёмин серьёзным тоном. — Это главное.

Родин посмотрел на него. Этот парень из деревни под Воронежем который пошёл в военкомат пешком двадцать километров. Который лежал под берёзой с осколком в ноге и у которого пар шёл изо рта. Который шёл шесть дней и ни разу не сказал что не может.

— Напишешь матери? — спросил Родин.

Дёмин помолчал секунду. Потом кивнул.

— Напишу. Сегодня же и напишу.

— Напиши.

Дёмин посмотрел на него — не как смотрят когда хотят что-то сказать. Как смотрят когда всё уже сказано.

— Вы куда теперь? — спросил он.

— Бригаду найду. Если цела. Если нет — куда пошлют.

— А нас с вами не возьмут?

Родин посмотрел на него. Потом на Ковальчука который стоял в дверях и слушал — без выражения, но слушал.

— Не знаю, — сказал Родин честно. — Решать не мне.

— Жаль, — произнёс Дёмин просто.

Ковальчук ничего не сказал. Но что-то в нём — в том как он стоял, в том как смотрел — было согласным с этим «жаль».

Петрова Родин нашёл у дальнего конца деревни.

Парень сидел на камне у обочины и смотрел на дорогу. Дорога уходила на восток — прямая, грунтовая, с колеями от техники. Туда откуда они пришли. Или туда куда шли — смотря как смотреть.

Родин подошёл и сел рядом — не на камень, просто на землю, рядом.

Молчали.

Ветер шёл с востока, холодный, ровный. Октябрь на исходе — через неделю, может через две, ляжет снег. Настоящий, не тот мокрый который они видели в овраге. Настоящий зимний снег.

— Домой написать есть кому? — спросил Родин.

Петров помолчал. Потом сказал:

— Мать. Под Тулой.

— Напишешь?

— Напишу.

Тишина.

— Товарищ капитан, — произнёс Петров. Медленно, как будто каждое слово проверял перед тем как выпустить.

— Что?

— Я когда связным был... — он остановился. Начал снова. — Я много видел. Пока ходил. Между позициями. — Пауза. — Много такого.

Родин не торопил. Сидел и ждал.

— Я думал что перестану. Видеть. Что привыкну. — Петров смотрел на дорогу. — Не перестал.

— Хорошо, — сказал Родин.

Петров повернул к нему голову — быстро, удивлённо.

— Хорошо? — переспросил он.

— Хорошо, — повторил Родин. — Что не перестал. Это значит ты человек. Это важнее чем думаешь.

Петров смотрел на него ещё секунду. Потом снова повернулся к дороге.

Молчание было долгим. Не неприятным — просто долгим. Таким которое бывает когда сказано что-то весомое и нужно время чтобы оно легло.

— Мать пирогов пекла, — сказал Петров наконец. Тихо, почти себе. — С картошкой и луком. Я всегда говорил — с луком невкусно. А она всё равно с луком. — Пауза. — Теперь думаю — какая разница. Лишь бы были пироги.

Родин ничего не сказал. Слушал.

— Лишь бы были, — повторил Петров — ещё тише, почти беззвучно.

Они сидели и смотрели на дорогу.

Где-то за деревней гудел мотор грузовика. Артиллерия — далёкая, восточная — ударила три раза подряд, потом умолкла. Ветер принёс запах дыма и горячей каши из полевой кухни. Живые запахи. Настоящие.

Родин думал о том что этот парень сказал своё — первый раз за все это время, пока он был вместе с ним.

— Пироги будут, — сказал Родин.

Петров посмотрел на него.

— Вы опять говорите как будто точно знаете.

— Не точно, — сказал Родин. — Но говорю.

Петров немного помолчал. Потом что-то случилось с его лицом — почти незаметно, почти ничего. Но уголки губ сдвинулись. Не улыбка — что-то перед улыбкой. Что-то что бывает когда человек ещё не улыбается, но уже почти готов.

Это было достаточно.

Вечером собрались все четверо.

Не намеренно — просто так получилось. Дёмин вышел из дома, Ковальчук стоял у ворот, Петров подошёл с той стороны где сидел. Родин был у танков и тоже подошёл. Просто потому что время совпало.

Встали вчетвером у забора. Смотрели на деревню — на огни в окнах, на силуэты людей, на небо которое темнело над крышами.

Молчали. Это было привычное молчание. За шесть дней они научились молчать вместе — не потому что нечего сказать, а потому что иногда молчание само по себе и есть разговор.

— Завтра куда? — спросил Дёмин.

— Меня направят к бригаде, — сказал Родин. — Или куда скажут. Не знаю ещё.

— А нас?

— Вас распределят отдельно. По частям.

Дёмин кивнул. Принял это как факт. Без лишних слов.

Ковальчук смотрел на небо.

— Звёзды, — произнёс он вдруг.

Родин поднял голову. Облака разошлись — не полностью, но в одном месте, над самым горизонтом — открылся кусок чистого неба. Тёмного, глубокого, со звёздами. Две или три — не созвездие, просто несколько точек света.

Первые звёзды за шесть дней.

— Рано в этом году, — сказал Дёмин — и это было не про звёзды, но все поняли.

— Рано, — согласился Ковальчук.

Петров молчал. Смотрел наверх.

Они стояли и смотрели на звёзды — четверо у деревенского забора, в октябре сорок первого, в деревне которую Родин не знал по имени и которая стала их точкой выхода.

Родин думал о том что завтра это закончится — эта четвёрка, этот порядок, эти шесть дней. Каждый пойдёт своим направлением. Дёмин останется здесь пока не заживёт нога, потом

— куда пошлют. Петров пойдёт к новому командиру. Ковальчук — к танкам, к другой машине, к другому экипажу.

И он сам. К бригаде. К стали.

Это правильно. Это именно так и должно быть.

Но сейчас — сейчас они стоят вместе и смотрят на три звезды в разрыве облаков. И это тоже правильно. Это тоже — именно так и должно быть.

— Спать надо, — произнёс Ковальчук.

— Надо, — согласился Дёмин.

Никто не двигался ещё минуту.

Потом Дёмин хмыкнул тихо — не смешливо, просто так, как хмыкают когда что-то понятное делается ещё понятнее.

— Крым всё-таки увижу, — сказал он. Не вопросительно. Утвердительно. — Решено.

— Решено, — сказал Родин.

Петров кивнул — медленно, серьёзно. Как будто это было соглашение, которое теперь зафиксировано.

Ковальчук ничего не сказал. Но из-за усов что-то сдвинулось в его лице — едва заметно, ровно настолько чтобы было и ровно настолько чтобы не обязательно было замечать.

Они разошлись по местам.

Родин остался стоять ещё немного.

Смотрел на небо. Облака снова сходились — медленно, плотно, октябрьски. Звёзды гасли одна за другой, поглощаемые серым. Через минуту неба не стало — только ровная тёмная пелена как всегда.

Но они были. Только что — были.

Родин опустил голову.

Деревня жила своей ночной жизнью. Кто-то нёс что-то через двор. Вдалеке — голоса, неразборчивые. У дома напротив — огонёк папиросы, потом потух.

Он подумал о том что у него нет прошлого. Что белая пустота никуда не делась и, наверное, не денется. Что завтра придётся снова объяснять — контузия, Вяземский котёл, четвёртая бригада.

Потом подумал о другом.

Шесть дней. Один человек в лесу без памяти и без имени — и шесть дней спустя, тридцать человек в безопасности. Это было не потому что был план. Не потому что кто-то назначил. Потому что он пошёл на восток, а не на запад. Потому что не прошёл мимо человека под берёзой. Потому что карта в голове сказала — коридор — и он пошёл туда.

Это было всё что у него есть. И это оказалось достаточно.

Пока — достаточно.

Он пошёл спать.

Завтра — новый день. Новый маршрут. Новая задача.

Конец седьмой главы.

Глава 8

Глава 8

Штаб располагался в школе.

Небольшое кирпичное здание на краю деревни — два этажа, выбитые стёкла в нескольких окнах были заложённые досками. На стене у входа — карта в деревянной раме, непонятно откуда взявшаяся и почти облезшая. Над дверью — ничего, никакой таблички. Просто дверь, к которой шли люди с бумагами и от которой уходили с другими бумагами или без них вовсе.

Родин дождался своей очереди.

Их было несколько человек в коридоре — все из котла. Он понял это без слов, просто по тому как они сидели. Не как люди которые ждут в обычной очереди — а как люди которые умеют ждать потому что научились на это тратить по минимуму.

Он сидел и смотрел на дверь.

За последние два дня — с момента как они вышли к поляне с советскими солдатами, как добрались до этой деревни, как Дёмина и Соболева забрал настоящий военный врач, многое изменилось и ничего не изменилось одновременно. Люди разошлись. Воронов сдал свою группу и ушёл куда-то с докладом — молодой, деловой, с той же усталостью в лице, но с чем-то другим в осанке.

Ковальчук был где-то в деревне. Его не приписали ни к какой части — сказали ждать. Он ждал, как умел: молча и никому не мешая.

Петров получил направление в штаб связи — там его знали по документам, там была его часть. Её останки. Уходя, он остановился рядом с Родиным на несколько секунд.

Ничего не сказал. Просто остановился.

Родин посмотрел на него.

— Иди, все будет хорошо, — произнес капитан.

Петров кивнул. И пошёл. Не оглядываясь — это было правильно. Это было его, Петровское. Он умел уходить не оглядываясь. Не потому что не было за чем, а потому что понимал — не надо.

Дёмин был в медпункте. Нога требовала настоящего лечения — это сказал Соколов ещё на поляне. Может, несколько дней, может неделю. Родин заходил к нему вчера вечером. Дёмин лежал на нормальной кровати с нормальной подушкой, в тепле, и смотрел в потолок с тем особым выражением человека которому разрешили наконец не идти.

— Письмо написал? — спросил Родин.

— Написал. Ещё вчера, — ответил Дёмин. — Санитарка обещала отправить.

— Хорошо, — ответил капитан и воцарилась неловкое молчание

— Вы как? — спросил Дёмин, первым нарушив неуютную тишину.

— Нормально. Сегодня в штаб.

— Нога ваша как?

Родин удивился вопросу, а потом понял. Не нога, конечно. Дёмин имел ввиду голову. А вернее будет сказать — память.

— Так же, — сказал он.

Дёмин кивнул.

— Когда выпишут — куда? — спросил Родин.

— Сказали, к своим. Восстановят часть или в другую определяют. — Дёмин немного помолчал. — Я бы хотел опять куда-нибудь, где нужно идти. Это я умею.

— Умеешь, — подтвердил Родин.

Больше ничего существенного сказано не было. Родин попрощался — коротко, без лишнего и ушёл. Дёмин не провожал взглядом. Лежал и смотрел в потолок. Это было правильно.

Дверь наконец открылась.

— Следующий.

Родин встал и вошёл.

Кабинет был бывшим классом — парты сдвинуты к стенам, посередине стол, за столом майор. ДНе Баранов — другой. Помоложе, с острым внимательным лицом и карандашом в руке.

— Садитесь. Документы.

Родин положил военный билет на стол.

Майор взял, открыл. Посмотрел. Не быстро и внимательно. Потом поднял взгляд.

— Родин Алексей Тимофеевич. Четвёртая танковая бригада, — он сделал паузу. — Как вышли?

— Пешком. Шесть дней от места подбития машины.

— Машина?

— Т-34. Подбита. Ориентировочно двадцать второго октября, западнее Вязьмы. Точные координаты не восстановлю, но примерный квадрат дам.

Майор кивнул, что-то начал писать.

— Экипаж?

— Трое ушли, при мне оставили записку. Механик-водитель Кузов. Двоих по именам не помню.

Майор записывал.

— Почему не помните двоих?

Родин помолчал секунду.

— Контузия. При эвакуации из машины. Потеря части памяти — ретроградная амнезия. Личный состав не восстанавливаю, оперативные знания сохранены.

— Медицинское освидетельствование?

— Проведено. Вчера. Рапорт прилагается.

Он положил на стол бумагу. Соколов оформил накануне, аккуратно и с печатью.

Майор взял, прочёл. Кивнул.

— Выход из окружения через северный коридор?

— Да. С группой — тридцать один человек на момент выхода. Из них двое раненых. Потерь при выходе нет.

Майор поднял взгляд от бумаг с тем особым выражением которое бывает когда цифра удивляет.

— Тридцать один — сами собрали?

— Четверо были изначально. Одиннадцать — с военфельдшером Старцевой в деревне. Остальные — на промежуточной точке с лейтенантом Вороновым.

— Старцева, Воронов — ваши подчинённые?

— Нет. Собственные группы. Я шёл в авангарде — знал направление.

Майор снова что-то записал. Родин сидел и ждал.

Обычная жизнь тыла. После шести дней котла это звучало как другой мир.

— Четвёртая бригада, — сказал майор не поднимая взгляда. — По последним данным, соединение выведено на переформирование. Часть личного состава сосредоточена в Серпухове.

Родин принял это спокойно.

— Туда направите?

— Пока нет, — майор наконец поднял взгляд. — Пока здесь. Ещё двое суток. Потом — в зависимости от обстановки. Возможно, действительно в Серпухов. Возможно, другое назначение — танкисты нужны везде.

— Понял.

— Вопросы?

Родин подумал секунду.

— Механик-водитель Ковальчук Михаил Михеевич. Из котла, вышел со мной. Опытный — ещё под Минском в июне выходил. Если есть возможность, то можете направить в одну часть?

Майор посмотрел на него и что-то в этом взгляде было другое.

— Запишу, — сказал он. — Не обещаю, но запишу.

— Спасибо.

— Свободны.

Родин встал. Забрал военный билет и повернулся к двери.

— Родин, — сказал майор.

Он остановился.

— Тридцать один человек, — сказал майор. — Из котла. Без потерь при выходе, — он сделал паузу. — Это хорошая работа.

Родин кивнул, а затем повернулся и молча вышел.

Ковальчук ждал у крыльца.

Стоял, опираясь о перила, смотрел на улицу.

Когда Родин вышел он повернул голову.

— Ну как?

— Нормально. Ждём двое суток. Потом решат.

Ковальчук кивнул.

— Про меня спросили?

— Попросил, чтоб в одну часть. Не обещали.

Ковальчук снова кивнул — без разочарования, просто принял как информацию.

— Дёмин как? — спросил он.

— Лежит. Письмо написал, — ответил ему Родин.

— Это хорошо, — произнёс Ковальчук.

Помолчали.

Улица перед штабом жила своей жизнью — кто-то пробежал с папкой, у ворот стоял грузовик с работающим двигателем, двое солдат несли ящики от одного дома к другому. Обычный тыловой день. После шести дней котла это ощущалось как что-то немного нереальное — не плохое, просто другое. Слишком много людей которые никуда не бегут. Слишком много движения без спешки.

— Куда тебя определили? - спросил капитан.

— В общий барак. — Ковальчук кивнул куда-то за угол. — Там их много таких, вышедших. Ждут распределения. Нары нашлись.

Родин посмотрел на него. Ковальчук стоял так же как всегда — прямо, без суеты, с тем ровным видом человека которого обстоятельства не удивляют. Два дня ожидания, нары в бараке, неизвестность — всё это принималось как должное. Просто очередной отрезок пути.

— Ты как вообще? — спросил Родин.

Ковальчук посмотрел на него коротко — с тем выражением когда вопрос неожиданный не потому что странный, а потому что редкий.

— Нормально, — ответил он.

— Это значит что нормально, или это значит что не хочешь говорить?

Ковальчук помолчал секунду. Потом сказал:

— Это значит нормально, — он сделал паузу. — Я умею ждать. Это не трудно.

Родин кивнул. .

Они постояли ещё немного. Грузовик у ворот наконец тронулся и уехал, выпустив из выхлопной трубы облако чёрного дыма. Холодный воздух разнёс его быстро.

— Ты домой напишешь? — спросил Родин.

Ковальчук не ответил сразу. Долгая пауза — не та которая означает что человек не хочет отвечать, а та когда обдумывает.

— Есть кому писать, — сказал он наконец. — Жена. В Казани, — он сделал паузу. — Мы не виделись с июня. С самого начала.

— Напиши.

— Напишу, — спокойно произнес Ковальчук. — Сегодня вечером напишу.

Это было сказано просто — без торжественности, без ощущения что это важное решение. Как будто это было давно решено и просто не было времени сделать.

Родин посмотрел на него.

За шесть дней он узнал Ковальчука достаточно чтобы понимать, то что человек говорит мало, это не значит что внутри него пусто. Там было много. Просто хранилось аккуратно, без лишнего доступа. Жена в Казани, которой не было письма с июня. Это было там — тихое, тяжёлое и своё.

Он не показывал это потому что не нужно было показывать. Это было его, и ничье больше.

Родин больше ничего не сказал.

Двое суток растянулись иначе чем он ожидал.

Он думал — будет тягостно. Ждать всегда тягостно, когда не знаешь что ждёшь. Но оказалось по-другому. Тело, которое шесть дней шло без остановок, взяло своё — просто потребовало покоя и получило его. Родин спал — по-настоящему, глубоко, без того поверхностного чуткого сна который был в котле.

А ещё он ел, отдыхал и собирался информацию.

Деревня жила вокруг него.

Она называлась Красново — это он узнал это случайно, от кого-то в очереди на кухню. Просто деревня, каких много. Дворов тридцать, колодец у церкви, поле за огородами. Сейчас в ней было людей больше чем домов, и эта плотность ощущалась — в очередях, в запахах, в постоянном движении у штаба.

Родин бродил по деревне без цели, просто так. Смотрел как работает полевая кухня, как механики возятся с машинами у сарая, как двое бойцов чинят забор — непонятно зачем, может просто чтобы делать что-нибудь руками.

Думал о том что здесь, в этой тыловой суете, была своя правда. Не та правда которая была в лесу — острая, одиночная, сведённая к нескольким километрам в день и нескольким людям рядом. Другая. Большая. Много людей, много задач, много движения без конкретного направления — и в этом хаосе что-то держалось. Порядок был — просто другой.

На второй день он нашёл Старцеву у медпункта.

Она стояла у крыльца и смотрела в маленькую книжечку. Судя по всему её блокнот, в который она что-то записывала, прямо стоя.

Она подняла взгляд, когда услышала шаги.

— Завтра уходите? — спросила она.

— Сказали завтра с утра. Грузовик до Серпухова.

— Серпухов, — повторила она. — Там часть?

— Там бригада на переформировании. Или то что от неё осталось.

Она кивнула.

— Соколов говорит что здесь ещё нужны руки, — произнесла Старцева. — На несколько дней. Потом и меня куда-нибудь направят.

— Куда?

— Не знаю. Куда скажут, — она пожала плечами. — Это не важно. Военфельдшеры везде нужны.

Родин посмотрел на неё.

Надежда Старцева стояла у крыльца сельского медпункта в деревне Красново, в ноябре сорок первого, с блокнотом в руках и была на своём месте. Не в смысле судьбы или предназначения. Просто, она здесь нужна и делает что умеет, и этого достаточно.

— Дёмин как? — спросил он.

— Лучше. Воспаление уходит. Соколов говорит через неделю можно будет нагружать ногу, — она сделала паузу. — Он хороший парень, ваш Дёмин.

— Знаю.

— Он вчера вечером попросил бумаги ещё. Говорит — написал матери, теперь хочет написать в военкомат, — Старцева слегка улыбнулась. — Зачем в военкомат, спрашиваю. Говорит — чтобы знали что дошёл. Вдруг они тоже ждут.

Родин подумал об этом. Дёмин, который дошёл с осколком в ноге, теперь пишет в военкомат чтобы те которые его провожали — знали, что он на войне. Это было в нём — это крестьянское понимание что если ты что-то обещал, то обязательно нужно отчитаться. Что люди ждут и нужно дать им об этом знать.

— Правильно делает, — произнёс Родин.

— Правильно, — согласилась она.

Помолчали.

— Я не знаю буду ли я когда-нибудь в Серпухове, — произнесла Старцева. — Война она, — военфельдшер сделала паузу. — Я не знаю...

— Расходятся, — произнес Родин.

— Но это ничего, — ответила она. — Это нормально. Главное что вы вывели людей, — она посмотрела на капитана странным взглядом.

Родин посмотрел на неё. Она смотрела прямо, без сентиментальности — с тем ровным взглядом который был у неё с первой минуты. Человек который говорит что думает и не тратит слов на то чего не думает.

— Спасибо, — сказал он.

— За что? — удивилась она.

— За то что остались с семерыми, — он сделал паузу. — Если бы вы ушли — мы бы не нашли медика в той деревне. Дёмин шёл бы с незаживающей раной дальше.

Старцева посмотрела на него. Потом произнесла:

— Я не оставила бы их. Это не заслуга. Просто так было правильно.

— Это и есть заслуга, — сказал Родин.

Она ничего не ответила. Просто посмотрела на него ещё секунду, потом снова опустила взгляд в блокнот. Разговор был окончен — не потому что она оборвала, а потому что было сказано достаточно.

Родин кивнул и пошёл дальше.

Вечером последнего дня он вернулся к Дёмину.

Медпункт был тихим — время позднее, большинство уже спали. Дёмин не спал. Лежал на спине, смотрел в потолок с тем спокойным выражением человека которому думается хорошо в темноте.

— Не спишь, — сказал Родин, садясь на краешек лавки.

— Думаю.

— О чём?

Дёмин помолчал. Потом, а потом ответил:

— О том как вернусь. После войны. Приду в деревню, а там всё то же самое. Огород, куры, мать, — он сделал паузу. — А я уже другой, — он произнёс это задумчиво, без тревоги. — Странно будет, наверное.

— Будет, — согласился Родин.

— Но это ведь нормально? - спросил он.

— Нормально — ответил Родин.

Дёмин повернул голову и посмотрел на него.

— Вы завтра уходите?

— Да. С утра.

— В Серпухов?

— В Серпухов.

Дёмин снова посмотрел в потолок.

— Я думал об этом, — произнёс он после небольшой паузы. — Когда шли. Думал — вот человек без памяти, без прошлого, идёт первым и знает куда, — он сделал паузу. — Это странно. Это должно пугать. Но вы не пугались.

— Пугался, — сказал Родин. — Просто не показывал.

— Возможно, — произнёс Дёмин. — Или не пугались, а просто шли. Это одно и то же... Наверное.

Родин задумался.

— Наверное, — согласился он.

— Вы всё вспомните! — вдруг произнес Дёмин вдруг.

— Откуда ты знаешь?

— Не знаю, — ответил Дёмин. — Просто кажется. Такие вещи не пропадают насовсем. Они просто ждут.

Родин смотрел на него — на этого двадцатилетнего парня из деревни под Воронежем, который шёл шесть дней с осколком в ноге и теперь лежал в медпункте и философствовал о памяти с полной серьёзностью.

— Может, — сказал Родин.

— Точно, — сказал Дёмин и улыбнулся. — Вы же сказали, что я попаду в Крым. Вот и я думаю, что вы память к вам тоже вернётся! — добавил он, а через несколько минут просто уснул.

Может дело было в лекарствах, может в усталости, а может в чем-то другом. Родин этого не знал.

Капитан посидел ещё немного, а затем встал и тихо вышел.

На улице был холодно.

Родин немного постоял на крыльце, а затем отправился спать.

Завтра его ждал трудный день и перед ним, ему следовало хорошо выспаться.

Родин пошёл спать.

Конец восьмой главы.

Глава 9

Серпухов встретил его снегом.

Настоящим, первым — не тем мокрым октябрьским который падал и таял, а ноябрьским, лежащим плотно, остающимся. Он шёл с утра — ровно, без ветра, крупными хлопьями. Город под ним становился белым медленно, как фотография которая проявляется.

Родин ехал в кузове грузовика — вместе с ещё семью людьми, которых тоже направляли на переформирование. Незнакомые, молчаливые. У каждого своя история, свой котёл, свой выход. Он не спрашивал. Они не спрашивали.

Он смотрел на снег и думал о Серпухове.

Не личные воспоминания — их не было. Просто факты из потока: город на Оке, укреплённый рубеж, линия обороны. В ноябре сорок первого здесь держали Москву — не пустили немцев дальше. Это он знал, как знал всё остальное из этого странного запаса.

Река Ока.

Это слово он слышал раньше — ещё там, в лесу, на второй или третий день. Что-то шевельнулось когда он произнёс его мысленно. Не картинка — просто движение. Как будто кто-то повернулся на звук, но не вошёл в комнату.

Река была чёрной на белом снегу — он увидел её когда грузовик переехал мост. Широкая, медленная, осенняя. Лёд только начинался — тонкий, прозрачный, по краям берегов. Середина реки ещё шла тёмной водой.

Он смотрел на воду и ждал.

Ничего.

Или почти ничего. Что-то — едва уловимое, на самом краю — было. Запах воды, запах речного берега. Детский, что ли...

Он отвёл взгляд.

Грузовик въехал в город.

Часть располагалась на краю — в школьных зданиях и в наспех поставленных деревянных бараках. На плацу стояла техника: несколько Т-34, один КВ с закопчённой бортовой броней, два грузовика с тентами. Живая техника — не подбитая, не на ремонте. Это было хорошо. Это значило что часть формировалась, а не разваливалась.

Родин сдал документы дежурному.

Через двадцать минут его принял командир — полковник Савельев. Пятидесятилетний, квадратный, с тем особым видом командиров которые прошли финскую и которых котёл сорок первого не сломал потому что они уже знали что война — это именно так. Тяжело, медленно, и каждый день нужно делать своё.

Разговор был коротким.

Родин доложил — четвёртая бригада, Вязьма, выход из котла. Контузия, частичная амнезия. Шесть дней пешком. Тридцать один человек вышли.

Савельев слушал. Не перебивал.

— Танки? — спросил он.

— Потерял при выходе из строя под Вязьмой. Экипаж вышел отдельно. Судьба неизвестна.

— Боевой опыт?

— На Т-34 с тридцать девятого. Польская кампания. Финская. Сорок первый.

Савельев кивнул. Это был кивок человека который принял решение — быстро, без лишних слов.

— Первая рота. Командир роты — капитан Громов, — он сделал небольшую паузу. — Другой Громов, не путайте, — это было маленький намёк на усмешку. — Машину получите завтра. Сегодня вам нужно разместиться, осмотреться. Вопросы?

— Механик-водитель Ковальчук, — сказал Родин. — Я просил направить в одну часть. Савельев посмотрел в бумаги.

— Нет такого.

— Он должен был прийти с направлением. Из деревни Красново.

— Ещё не пришёл, значит. — Савельев поднял взгляд. — Если придёт — посмотрим. Обещать не буду, но посмотрим.

— Понял.

— Свободны.

Родин встал.

— Родин, — сказал Савельев когда он уже был у двери.

— Да.

— Тридцать один из котла, — он выдержал паузу. — Такое не часто случается.

Больше он ничего не сказал.

Родин кивнул и вышел.

Первая рота жила в длинном деревянном бараке.

Родин вошёл в первый день после обеда — когда люди уже вернулись с занятий и устраивались кто как. Барак был набит — человек двадцать, двадцать пять. Разные. Кто-то чистил оружие, кто-то спал, двое играли в карты у окна.

На него посмотрели — как смотрят на нового. Оценивающе, быстро. Потом отвели взгляды. Это было нормально. Так бывает в частях где люди уже успели притереться и новый — это нарушение устоявшегося порядка.

Ему показали место — нары у дальней стены, под окном. Холодно будет — ветер, видно, идёт с той стороны. Но он не стал просить другое. Не тот момент.

Сосед по нарам — младший лейтенант, совсем молодой, с веснушками и с виду лет девятинадцати. Смотрел на Родину без осторожности — открыто, с тем любопытством которое у молодых ещё не научилось прятаться.

— Новый? — спросил он.

— Ага, — кивнул Родин.

— Откуда?

— С Вязьмы.

Молодой помолчал секунду. Потом сказал:

— Я из-под Ельни. До Вязьмы не дошёл — нас отрезало раньше. Три недели выходил.

— Я шесть дней, — сказал Родин.

— Везёт некоторым, — произнёс молодой без зависти — просто констатируя факт.

— По-разному везёт, — ответил Родин.

Молодой кивнул. Понял правильно.

— Коля, — сказал он и протянул руку. — Антипов. Стрелок-радист.

— Родин. Командир танка.

Они пожали руки. Это было первое рукопожатие за несколько дней — в котле люди не жмут рук, там не до этого. Простой жест, но что-то в нём было правильное. Человеческое.

— Машину дадут завтра, говорят? — спросил Антипов.

— Сказали завтра.

— Хорошая машина, — произнёс он серьёзно. — Свежая. Только пришла с завода. Ещё заводской смазкой пахнет.

Родин посмотрел на него.

— Ты уже смотрел?

— Смотрел, — без смущения. — Я все машины смотрю. Привычка.

Родин подумал о Ковальчуке. О том как тот смотрел на разбитый Т-34 в лесу — профессиональным взглядом, спокойным. Это была одна порода — люди которые любят машины не за то что они орудие, а просто потому что машины. Таких людей на войне видно сразу.

— Хороший стрелок? — спросил Родин.

— Нормальный, — ответил Антипов без хвастовства. — Живой пока.

Родин улыбнулся. Коротко, немного. Это вышло само.

— Живой пока, это хорошо, — сказал он.

Антипов посмотрел на него с лёгким удивлением — не ожидал наверное что новый капитан умеет улыбаться. Потом сам улыбнулся — открыто, по-мальчишески.

— Это да, — согласился он.

Вечером Родин вышел на плац.

Снег прекратился. Небо расчистилось — редко, не полностью, но несколько звёзд появились над горизонтом. Техника стояла под снегом — тёмные силуэты, присыпанные белым. Т-34 под снегом выглядели иначе чем без — мягче, что ли. Снег скрывал жёсткие линии брони, прятал вмятины и следы работы. Просто тёмные округлые формы в белом.

Он подошёл к одной из машин — той, которую Антипов назвал свежей. Встал рядом.

Заводская смазка. Антипов не соврал — запах чувствовался даже сквозь снег и холодный воздух. Тот особый запах новой машины, который бывает только в первые недели. Потом он уходит — забивается другими запахами. Соляжкой, гарью, чем-то ещё.

Родин положил руку на броню.

Холодная. Ноябрьская. Но другая — не та усталость которую он чувствовал на своей разбитой машине в лесу. Та была боевая броня, битая, прожжённая. Эта — нетронутая. Завод, литьё, сборка. Всё впереди.

Он стоял и думал о том что это его машина.

Не та, которую он потерял. Новая. Другая. Новая история.

Он не помнил как получал первый танк — наверное, было что-то похожее. Стоял вот так, или почти так, и чувствовал вот это. Чистую, нетронутую броню. Начало.

Может, помнил. Тело помнило — потому что держало руку на броне с тем особым спокойствием которое бывает только у знакомого.

За спиной послышались шаги. Он не обернулся. Шаги остановились рядом — основательно, ровно.

— Ковальчук, — сказал он, не оборачиваясь.

— Ковальчук, — подтвердил голос. Хриплый, немолодой. — Прибыл два часа назад. Сказали — идти к полковнику утром, — пауза. — Нашёл вас сразу. Видно издалека — кто у техники стоит.

Родин обернулся.

Ковальчук стоял в трёх шагах — в той же шинели, с тем же спокойным лицом. Немного похудевший за эти дни. Но такой же основательный.

— Один пришёл? — спросил Родин.

— Один. Петрова направили в свою часть. Дёмина оставили до заживания.

Родин кивнул. Всё правильно.

— Савельев сказал — посмотрит, — произнёс Родин. — Обещать не стал.

— Я слышал, — сказал Ковальчук. — Мне уже сказали. Направление на первую роту. Похоже, посмотрел.

Родин посмотрел на него.

— Хорошо.

— Да, — согласился Ковальчук.

Они помолчали. Это было привычное молчание — то самое, которое сложилось за шесть дней в котле. Молчание людей которым не нужно заполнять паузы.

— Антипов, — сказал Родин. — Стрелок-радист. Младший лейтенант. Молодой, с веснушками. Хвалит машину.

— Видел, — сказал Ковальчук. — В бараке сидит.

— Как он тебе?

Ковальчук подумал секунду.

— Посмотрю, — сказал он. — Сказал, что раз живой, уже хорошо.

Родин снова улыбнулся — коротко, почти незаметно. Один ответ на оба конца. Антипов почти теми же словами — и Ковальчук теми же. Что-то в этом было.

— Ты мне скажи что думаешь, — произнёс Родин. — Про машину. Про Антипова. Про всё.

— Скажу, — ответил Ковальчук.

Просто «скажу». Без лишнего.

Они постояли ещё немного у машины. Снег под ногами хрустел. Где-то за городом — далеко, но слышно — артиллерия. Москва держалась. Это он знал. Карта в голове говорила — здесь, у Серпухова, у Тулы, по всей линии держат.

Держат.

— Экипаж, — сказал Родин тихо. Не к Ковальчуку — просто вслух.

— Четыре человека, — ответил Ковальчук. Понял без объяснений. — Вы, я, Антипов — это три. Четвёртый нужен.

— Завтра узнаем кого дадут.

— Хорошо.

Они пошли в барак. По дороге — молча, по свежему снегу. Следы оставались чёткие, ровные. Потом их занесёт к утру если пойдёт снова.

Родин думал о четвёртом человеке в экипаже. О заряжающем. Кто-то незнакомый — пока. Пока — незнакомый.

Потом — свой.

Так это работает. Он знал теперь. Узнал за шесть дней в лесу — как люди становятся своими. Не через договор, не через время. Просто — становятся.

Ночью он не спал долго.

Лежал на нарах и смотрел в потолок барака — низкий, деревянный, с пятном от протечки в углу. Барак дышал — двадцать пять человек вокруг, каждый со своим ритмом. Он уже привык засыпать под дыхание других — за шесть дней в котле это стало нормальным. Чужое дыхание рядом — это тепло и не одиночество. Это достаточно.

Антипов справа — дышал ровно, молодо, без всякой тяжести. Хороший сон у восемнадцатилетних. Или девятнадцатилетних — он точно не знал сколько ему.

Ковальчук устроился на другом конце барака — там нашлось место. Родин слышал его дыхание — привычное, узнаваемое уже. Ровное и основательное, как всё в Ковальчуке.

Он думал о завтрашнем дне.

Машина. Экипаж. Начало того что будет дальше. Он не знал что будет дальше — война в ноябре сорок первого не позволяла знать дальше одного дня. Но это было нормально. Он уже привык.

Думал о Дёмине. Где-то в медпункте — нога заживает, письмо отправлено. Мать получит — если почта идёт, а она идёт. Почта идёт даже в войну. Это он знал.

Думал о Петрове. В своей части, с новым командиром. Молчаливый, закрытый — но замок сдвинулся. Он сам открылся — «спасибо» на поляне. Это было его слово, добровольное. Может, первое такое слово за много месяцев.

Думал о Старцевой. Где она сейчас — неизвестно. Её направят куда-нибудь, она пойдёт. Будет делать что умеет. Иди и делай что умеешь, сказал ей отец. И она шла.

Думал о Малых Ключах.

Это слово — Малые Ключи — он произносил мысленно каждый день. Ждал. Иногда что-то шевелилось на самом краю — запах, звук, что-то неоформившееся. Потом исчезало.

Сегодня ночью он попробовал снова.

Малые Ключи. Орловская область.

Ничего.

Потом — Ока.

И вот тут — что-то другое. Не картинка. Но ощущение. Широкое, открытое, речное. Берег. Не конкретный берег, не конкретное лето — просто берег и вода и что-то очень раннее. Детское.

Он держал это ощущение сколько мог. Оно было тонким — как нить которая рвётся если потянуть.

Потом — отпустил. Не стал тянуть.

Края есть, сказала Старцева. Картины без краёв не бывает.

Может, она права.

Может, где-то там, за этим белым ровным экраном — берег Оки и деревня Малые Ключи, и мать которой нет в его памяти но которая есть где-то на самом деле. Может, она не знает что он жив. Может, знает — пришло письмо от кого-нибудь, или слух, или просто чувствует. Матери умеют.

Он лёг и закрыл глаза.

Завтра — машина. Экипаж. Первый выезд.

Следующий шаг.

Машину он принял в восемь утра.

Антипов ждал уже у ворот парка — в полной готовности. Ковальчук пришёл сам — без вызова, просто пришёл и встал рядом. Четвёртый — заряжающий, рядовой Сёмин, сорок лет, из пехоты переведён в танковые — стоял чуть в стороне и смотрел на машину с тем выражением с которым смотрят на что-то незнакомое и немного пугающее.

Родин обошёл машину — методично, по кругу. Смотрел на броню, на ходовую, на башню. Ковальчук шёл следом — тоже смотрел, по-своему. Антипов уже успел забраться на танк и словно мальчишка, получивший новую игрушку с интересом и детским восторгом разглядывал бронированную машину.

Сёмин стоял и смотрел.

Родин остановился рядом с ним.

— В танке раньше был? — спросил он.

— Нет, — честно ответил Сёмин. — Пехота. Но сказали направят в танковые. Я не отказался.

— Почему не отказался?

Сёмин подумал. Немолодой, сорок лет, серьёзный. Из тех кто думает перед тем как говорит.

— Потому что в танке броня, — сказал он наконец. — В пехоте броня — это ты сам, больше ничего. А тут хоть что-то между тобой и ними.

Родин посмотрел на него. Это был честный ответ. Не героический, не уставной — просто честный.

— Нормальная причина, — сказал он.

Сёмин кивнул — с некоторым облегчением. Наверное, ждал что осудят.

Не осудили.

— Обучим, — произнёс Родин. — Дней пять-семь хватит.

— Хорошо, — кивнул Сёмин.

К нам подошел Ковальчук и протянул ему руку.

Заряжающий немного удивился, но протянул руку в ответ.

Мозоли рабочие и старые. Широкая ладонь, крепкие пальцы.

— Не конторский, — произнёс Ковальчук. — До войны что делал?

— Плотник. В колхозе.

— Хорошо, — повторил Ковальчук. И отошёл.

Это был его способ принять нового человека. Не разговор, не рукопожатие. Посмотрел на руки — и всё. Руки скажут больше чем слова.

Антипов прыгнул с брони.

— Новёхонькая! — довольным голосом произнес младший лейтенант, а затем посмотрел на Сёмина. — Это кто?

— Заряжающий, — сказал Родин. — Сёмин.

— О! — младший лейтенант протянул ему руку. — Антипов. Стрелок-радист, — он улыбнулся.

Сёмин посмотрел на него с некоторым недоумением — он был вдвое старше этого мальчика. Потом что-то в его лице смягчилось.

— Сёмин, — как и положено представился заряжающий. - Виктор Сёмин.

Антипов кивнул удовлетворённо. Повернулся к машине и вновь на нее забрался.

Родин смотрел на своих четверых.

Ковальчук у борта — смотрит ходовую, уже своим взглядом, привычным. Антипов на броне — молодой, деловой и по-детски веселый. Сёмин, наоборот немолодой, пехотинец ставший танкистом, смотрит на башню как смотрят на что-то которое надо ещё изучить.

И он сам.

Четыре человека. Экипаж.

Не те четверо что шли из котла — те были другими, случайными, найденными в лесу. Эти — назначенные, подобранные, выданные приказом. Но это ничего не меняло. Ковальчук был свой. Антипов — пока незнакомый, но живой и открытый. Сёмин — пока чужой, но честный.

Потом всё это изменится. Через дни, через боевые выходы, через то как люди ведут себя когда трудно. Они станут своими — или не станут. Это уже как выйдет.

Но начало — вот оно.

Родин открыл командирский люк.

Запах встретил его сразу — заводской, чистый, незнакомый. Новая машина. Потом к нему добавится другое — дизель, масло, пороховой газ, пот. Жилой запах боевой машины. Но это потом.

Он забрался внутрь.

Башня — привычная, своя. Руки нашли всё сами — прицел, механизм поворота, укладку снарядов. Тело помнило. Тело всегда помнило.

Он сидел в башне нового танка, в Серпухове, в ноябре сорок первого — и думал о том что этот момент важный. Не потому что торжественный. Потому что настоящий.

Новая машина. Новый экипаж. Следующий шаг.

Снаружи — голос Антипова, что-то объясняющего Сёмину. Голос Ковальчука — короткий, основательный ответ. Снег скрипел под сапогами.

Родин закрыл глаза на секунду.

Лес был далеко. Котёл был далеко. Там — разбитый танк с разорванной гусеницей, шлемофон с запиской от Кузова, октябрьские берёзы. Где-то там — ещё лежало то, что было его жизнью до пустоты.

Здесь — это.

Он открыл глаза.

— Ковальчук! — позвал он через люк.

— Да, товарищ капитан? - слышалось снаружи.

Родин немного удивился. Капитан думал, что мехвод, просто залезет на танк и молча посмотрит на него, а нет.

Субординация.

— Запускай.

Пауза.

— Есть!

Двигатель взял не сразу — первая попытка, вторая. На третьей — схватил, зарычал, выровнялся. Живой звук, настоящий. Дизельный рёв Т-34 — он знал этот звук как знает голос человека с которым прожил годы.

Машина задрожала — мелко, ровно, работая.

Родин сидел в башне и слушал двигатель.

Это было правильно.

Снаружи что-то говорил Антипов — радостно, Семину про обороты. Ковальчук молчал. Снег под гусеницами — Родин чувствовал его через металл, через вибрацию, через то как машина стоит на мёрзлой земле. Живая машина стоит иначе чем мёртвая. Это тоже знало тело.

Он закрыл глаза.

Дизель работал ровно. Башня вокруг него — привычная, тесная, своя. Запах заводской смазки постепенно уступал другому — тому, который появляется когда машина прогревается. Своему.

Родин сидел и ни о чём не думал.

Просто слушал двигатель. Просто был здесь.

И вот тогда — в этой вибрации, в этом тепле, в этом рёве — что-то сдвинулось на самом краю. Не воспоминание. Не картинка. Просто — ощущение. Знакомое до такой степени, что не требует объяснения. Как будто тело вспомнило что-то, о чём голова ещё не знает.

Он открыл глаза.

Смотрел на прицел перед собой. На укладку снарядов. На металл стен вокруг.

Всё это было его. Не с сегодняшнего дня — давно. Долго. Это не Серпухов и не котёл и не Малые Ключи. Это что-то раньше. Что-то из того, что лежит за белым экраном — и впервые, едва уловимо, на самом краю, дало знать что оно там есть.

Не открылось. Просто дало знать.

Родин сидел неподвижно ещё секунду.

Потом негромко скомандовал:

— Глуши.

Двигатель умолк.

Тишина вернулась — плотная, ноябрьская, со скрипом снега под чьими-то сапогами.

Он вылез из башни. Антипов смотрел на него снизу и с детским восторгом в глазах.

— Нормально, — сказал Родин. — Хорошая машина.

Антипов кивнул — довольный, как всегда когда машину хвалят.

Ковальчук стоял у борта. Не спрашивал ничего. Просто смотрел. За шесть дней в котле он научился читать Родина — не слова, а то что за ними.

Родин спустился с брони на снег.

Постоял.

Подумал о том ощущении в башне. Оно уже было тоньше — как запах который чувствовал секунду назад и теперь не можешь снова найти. Но было. Оно было.

Карта в голове молчала. Пустота никуда не делась. Малые Ключи, мать, жизнь до военного билета — всё по-прежнему за белым экраном.

Странно, но слушая "голос" двигателя в моем сознании что-то шевельнулось.
И это было хоть что-то.
Конец девятой главы.

Глава 10

Ноябрь пришёл по-настоящему.

Не так, как приходит октябрь — постепенно, нехотя, со дня на день меняя одну серость на другую. Ноябрь пришёл за одну ночь. Родин лёг когда снег был тонким и хрустящим, а проснулся — окно барака белело глухо, как залитое молоком. Метель шла с рассвета, и к восьми утра всё что вчера имело форму — технику, тропинки, поленницы у стен — засыпало ровным белым до потери силуэтов.

Это был другой мир. Зимний. Настоящий.

Родин стоял у окна с кружкой кипятка в руке и смотрел на плац. Танки под снегом — три тёмных холма, одинаковых, нераспознаваемых. Где-то там стояла его машина. Он знал это не глазами — просто знал, где она. Ориентир без объяснений.

Дыхание Антипова за спиной — сопел, ещё не проснулся. Ковальчук уже встал — его нары были аккуратно застелен, сам он, видно, вышел раньше. Сёмин лежал на своей нижней полке и смотрел в потолок с тем видом когда всё уже решено — встать — но тело ещё торгуется.

Родин смотрел на метель и думал.

Первую неделю в Серпухове они занимались — стрельбы, манёвры на плацу, занятия по карте. Сёмина учили заряжать — быстро, в тесноте боевого отделения, без потерянных снарядов. Это требовало особого умения: не ловкости рук, а правильного понимания пространства. Сёмин был крупным — в башне становился почти тесным. Но он был упрямым и методичным, как бывает у людей которые долго делали что-то одно руками. Плотник понимает размеры без линейки. Это же умение — в другом месте, в другой ситуации.

К концу третьего дня он перестал задевать укладку локтем.

К концу пятого — делал ровно столько движений сколько нужно, не больше.

Ковальчук наблюдал за Сёминым с той молчаливой внимательностью которая у него была вместо слов. На четвёртый день сказал коротко: — Нормально — и отвернулся. Для Ковальчука это было высокой оценкой.

Антипов Сёмина принял сразу — легко, по-юношески, без лишних условий. Он вообще принимал людей легко. Это была его природа — открытая, непосредственная, почти беззащитная если не знать что за ней. Но Родин уже знал. За этой открытостью был хороший стрелок. Спокойный у прицела, без суеты.

Это он увидел на учебных стрельбах в конце первой недели.

Антипов стрелял без торопливости — это было заметно с первого раза. Многие молодые спешат, тянут курок раньше времени, не ждут момента. Антипов ждал. У него был внутренний секундомер который держал паузу ровно столько сколько нужно. Родин смотрел на это с той же странной узнаваемостью — он знал что такое бывает, знал как это называется, хотя откуда это знание было — по-прежнему неизвестно.

Четыре человека. Экипаж.

Не те что были в лесу — те были другими, случайными. Эти были рабочими. Выбранными не судьбой а военным делом. Но разница между случайными и рабочими оказалась меньше чем Родин думал. Может, на войне вообще не существует этого разделения.

Люди становятся своими — и всё. Как — неважно.

На второй неделе пришёл приказ о выдвижении.

Родин получил его утром — у Савельева, в его штабном классе. Полковник был краток. Несколько экипажей из первой роты — на усиление позиций под Каширой. Там немецкие танки давили вдоль дороги, держать нужно было жёстко, отойти было некуда.

— Каширу знаешь? — спросил Савельев.

— По карте, — ответил Родин.

Это была правда — карта в голове давала ему Каширу как точку, как название, как направление. Но не живое знание. Он там не был. Или был, но не помнил.

— По карте хватит, — сказал Савельев. — Там по приходе введут в обстановку. Вопросы?

— Нет.

— Выдвижение в четыре утра.

Родин кивнул и вышел.

В барак возвращался медленно. Думал о Кашире. О немецких танках вдоль дороги. Это была не абстрактная мысль — это была конкретная задача, которую нужно было решить четырьмя людьми в одной машине.

Он думал о Сёмине — как тот держится в первом бою. Не в учебном, а настоящем. Это нельзя было предсказать. Можно только готовить и потом — смотреть. Бой — это экзамен который нельзя сдать заранее.

Думал о Ковальчуке. Тот видел бои — финская, Минск, котёл. Ковальчук в первом бою будет там же где всегда — внутри, за рычагами. Он знал что делать. Это спокойствие.

Думал об Антипове. Молодой, открытый, хороший стрелок на учебных. Как будет в настоящем — тоже нельзя знать. Но стрелок который не торопится на учебных — обычно не торопится и в бою. Это было из какого-то знания которое у него было.

Думал о себе.

О том что он командир этих трёх людей. Что завтра они поедут в Каширу и там будут немецкие танки и снаряды и всё что означает настоящий бой. И от того как он командует — будет зависеть живы ли они.

Это было простое знание. Тяжёлое, но простое.

Он не боялся этого. Или боялся — но отрицал. Это тоже было из тела, из рук, из привычки. Командир должен быть боящимся ровно настолько чтобы не делать глупостей — и не больше. Остальное — в работу.

В барак он вошёл и увидел Ковальчука — тот уже знал. Сидел на нарах с тем же выражением с которым сидел всегда перед чем-то важным — внешне никакого выражения, внутри — работает.

Антипов не знал ещё. Возился с чем-то у своей полки — насвистывал тихонько, совсем по-мальчишески.

Сёмин чинил портянку — сосредоточенно, методично.

Родин встал в проходе.

— Завтра в четыре выдвигаемся, — произнёс он. — Кашира. Готовьтесь.

Антипов перестал насвистывать. Посмотрел на Родин — быстро, серьёзно. Что-то сдвинулось в нём — не страх, что-то другое. Собранность. Вот оно. Это хорошо.

Сёмин поднял взгляд от портянки. Кивнул медленно — с тем видом которым кивают когда ждали этого и вот оно пришло.

Ковальчук не кивнул — просто смотрел на Родин. Это был его способ сказать — понял, готов.

Больше ничего не было сказано, да и не нужно было.

Ночью снег прекратился.

Родин лежал на нарах и слушал тишину. Настоящую зимнюю тишину — плотную, ватную. Такая тишина бывает только когда снег лежит глубокий и впитывает все звуки.

Антипов справа уже спал — ровно, глубоко. Молодые умеют так, перед чем угодно. Может, это и правильно. Сёмин спал с другой стороны барака. Ковальчук — тоже. Все спали.

Родин лежал и думал о Кашире.

Там был Осетр — река. Там была дорога на Москву. Там стояли части, которые держали немца. И туда шли немецкие танки — через снег, через ноябрьское поле, с той механической

методичностью которую он знал из своего потока. Немцы умели давить. Они не останавливались на усталость.

Наши умели держать. Это тоже он знал. Из того же потока, из цифр и дат и позиций — здесь, под Москвой, в ноябре сорок первого, немецкое наступление остановилось. Не сразу. Через кровь и потери и людей которые умирали в снегу под Каширой и Тулой и по всей этой линии.

Держали.

Он думал — завтра будет он в этой цифре. Один экипаж из тех кто держал. Маленькая точка в большой картине.

Это нужно было принять не как героизм и не как судьбу — просто как факт. Так устроено. Его место — здесь, в этой машине, с этими тремя людьми. Это место имеет смысл не потому что большое, а потому что настоящее.

Он закрыл глаза.

Думал о Дёмине. Поправляется — это он знал от Ковальчука который узнал от кого-то. Нога заживает, письмо дошло. Мать ответила. Это Родин не знал точно, но так хотелось думать — и думалось.

Думал о Петрове. Где-то в своей части, с новым командиром. Молчаливый, закрытый, но замок сдвинулся. Пирог с луком ждёт.

Думал о Старцевой. Где-то с ранеными — делает что умеет, как велел отец. Её тетрадка наполняется новыми записями.

Эти люди были в нём теперь. Не как воспоминание — память не восстановилась, белая пустота никуда не делась. Но как что-то другое. Как части которые встали на место. Как комната которую начали обставлять.

Пустота стала меньше.

Не потому что заполнилась прошлым — прошлого по-прежнему не было. А потому что появилось настоящее. Дёмин, Ковальчук, Петров, Старцева, Антипов, Сёмин — это всё настоящее. Живое. Своё.

Этого хватало.

Родин повернулся на бок.

За окном была зимняя ночь — белая, тихая. В четыре утра нужно было вставать. Значит, сейчас нужно спать.

Он закрыл глаза и уснул — быстро, без усилий. Так спят люди которые знали что их ждёт завтра.

В четыре утра плац был тёмным и морозным.

Термометр у двери барака — примерный, самодельный — показывал около двадцати. Или около того. Настоящий ноябрьский мороз, от которого перехватывает дыхание на первом шаге за порог.

Родин вышел первым и стоял у двери пока не привыкнут лёгкие. Звёзды над плацем — чёткие, зимние, без октябрьских облаков. Небо расчистилось за ночь и теперь горело над ними холодным и острым. Самый яркий — почти над головой, немного к западу. Родин смотрел на него секунду. Просто смотрел.

Потом пошёл к машине.

Ковальчук уже был там — само собой. Ходил вокруг с фонарём, проверял ходовую. Движения его в темноте были уверенными — он знал эту машину уже достаточно чтобы работать на ощупь.

Антипов подбежал — почти буквально подбежал, закутанный и с паром изо рта. Холод его не остановил, только сделал более живым. Полез на броню без вопросов — проверять своё.

Сёмин пришёл последним. Шёл ровно, тяжело, по-пехотному. Остановился у машины и положил руку на броню — просто так, без смысла. Потом убрал и начал готовиться к посадке.

Родин смотрел на всех троих и думал что каждый из них делает своё — без команды, без напоминания. Это был признак экипажа. Не людей которых посадили в одну машину, а людей которые уже понимают что они — одно.

Две недели. Это быстро.

— Готовы? — спросил он.

— Готов, — ответил Ковальчук.

— Готов! — у Антипова пар вырвался большим облаком.

Сёмин молча кивнул. По-сёмински.

— По местам.

Они рассредоточились по люкам. Металл в такой мороз обжигал руки через рукавицы — Родин почувствовал это когда взялся за край командирского люка. Привычное ощущение. Тело помнило.

Он залез последним — посмотрел на плац, на звёзды над ним, на тёмные силуэты других машин которые тоже готовились к выдвигению. Три машины из первой роты — его, плюс ещё две. Небольшая колонна. Но колонна.

Люк закрылся над ним.

Внутри — темнота, запах дизеля и заводской смазки, тепло которое ещё будет. Привычная теснота башни. Прицел прямо перед взглядом.

— Заводи, — сказал он Ковальчуку.

Двигатель взял с первой попытки — в мороз это хорошо. Значит, готовили правильно.

Т-34 задрожал — всем телом, как живое существо которое продрогло и теперь согревается. Родин чувствовал эту вибрацию через металл сиденья, через пол, через всё вокруг. Своё, знакомое.

В наушниках — голос Ковальчука:

— Мотор нормальный. Масло идёт. Готов к движению.

— Выдвигаемся, — сказал Родин. — Следи за колонной.

— Есть.

Машина тронулась.

Снег под гусеницами — хруст, давление, ровное движение. Плац пошёл назад в смотровых щелях — тёмный, белый, с расплывчатыми силуэтами строений. Потом — ворота парка. Потом — улица.

Серпухов проплывал мимо в темноте. Дома с тёмными окнами — здесь не светили. Деревья в инее. Редкий фонарь над перекрёстком, тусклый. Машина шла ровно, уверенно, не скользя — Ковальчук чувствовал дорогу через рычаги, это Родин знал.

На выезде из города они прошли мимо церкви — белой, с закрытыми воротами. Над крестом — звёзды. Родин увидел это в смотровую щель и на секунду что-то шевельнулось — глубокое, неназываемое. Церковь и звёзды над ней в ноябрьском холоде.

Потом осталась позади.

Дорога на Каширу шла через поля.

Снег лежал ровно — нетронутый, белый, уходящий к горизонту в темноте. Луны не было, но звёзды давали достаточно отражённого света чтобы поле не было чёрным. Белое поле в тёмно-синем. Красиво — он опять поймал себя на этом слове и опять не стал его прогонять.

Колонна шла в темноте. Три машины. Гул трёх дизелей сливался в один, негромкий и ровный в ноябрьском воздухе.

Антипов в наушниках — тихий, сосредоточенный. Молчал. Это хорошо. Молодые иногда начинают говорить от нервов, когда первый раз едут туда.

Сёмин тоже молчал. Сидел в своей тесноте и, наверное, думал о чём-то своём — о плотницкой работе, о колхозе, о пехоте из которой перевели. Или ни о чём конкретном — просто ехал и привыкал к тому что машина живая под ним.

Ковальчук вёл — ровно, без лишних движений. Это был его способ существовать. Делать дело и не тратить на это больше чем нужно.

Родин сидел в башне и смотрел вперёд.

Дорога уходила в темноту. Туда, где была Кашира. Туда, где немецкие танки давили вдоль берега. Туда, где нужно было держать.

Он думал — что это за жизнь такая. Без памяти, без прошлого, без истории. Только то что есть сейчас — машина, экипаж, дорога, задача.

Потом подумал — может, это не так и мало.

Малые Ключи лежат где-то за белым экраном. Может, откроются — когда-нибудь, как двигатель который берёт не с первой попытки. Может, нет. Это не в его власти.

В его власти — вот это. Здесь, сейчас. Три человека в машине которая идёт по ноябрьской дороге к Кашире. Держать. Выводить. Идти впереди.

Он знал как это делается.

Руки знали. Тело знало. И чего-то большего пока не требовалось.

Рассвет начинался за горизонтом — едва, тоненькой белой полоской. Восток светлел медленно, нехотя. Ноябрь отдавал ночь так же скупко как октябрь.

Родин смотрел на эту полоску и думал что сегодня будет трудный день.

Трудный — это нормально. Он умеет с трудным.

— Ковальчук, — произнёс он в переговорное устройство.

— Здесь.

— Как машина?

— Идёт, — короткий ответ. — Хорошо идёт.

Родин кивнул — сам себе, в темноте башни.

Хорошо идёт, — этого пока хватало.

Конец десятой главы.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.